# НОВЕЙШАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

*по литературе*

# 3 класс

ЭКСМО

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Новейшая хрестоматия для 3-го класса составлена в полном соответствии с современными требованиями Государственного образовательного стандарта и может быть использована со всеми основными учебниками по литературному чтению, рекомендованными Министерством образования и науки РФ.

В хрестоматии наиболее полно учтены интересы и возрастные потребности третьеклассника. В нее вошли сказки, произведения из золотого фонда современной детской литературы, русской и зарубежной классики.

Издание предназначено для подготовки к урокам и для самостоятельной работы учащихся дома.


- Новейшая хрестоматия по литературе: 3 класс
  - Древнерусская литература и устное народное творчество
    - Русские народные песни
      - Калинка (Плясовая песня)
      - «Тень-потетень…»
    - Русские народные сказки
      - Баба-яга
      - Василиса Прекрасная
      - Как мужик гусей делил
      - Хаврошечка
    - Былины
      - Илья Муромец и Калин-Царь
  - Русская литература XIX века
    - Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860)
    - Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859)
    - Н. Гарин (Михайловский Николай Георгиевич) (1852–1906)
    - Жуковский Василий Андреевич (1783–1852)
      - Котик и козлик
      - Мальчик с пальчик (Отрывок )
    - Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842)
    - Крылов Иван Андреевич (1769–1844)
      - Волк и журавль
      - Кукушка и петух
    - Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841)
    - Майков Аполлон Николаевич (1821–1897)
      - «Ласточка примчалась…»
      - Осень

- Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912)
  - Приёмыш
  - Серая шейка
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878)
  - Зелёный шум (В сокращении )
  - Несжатая полоса
  - Школьник
- Никитин Иван Саввич (1824–1861)
  - «Тихо ночь ложится…»
  - Утро на берегу озера (Отрывок)
- Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893)
  - Бабушка и внучек
  - Весна
  - На берегу
  - Старик
- Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837)
  - «Гонимы вешними лучами…» (Отрывок из романа «Евгений Онегин»)
  - «Если жизнь тебя обманет…»
  - «Ещё дуют холодные ветры…»
  - Осень (Отрывок)
  - Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
  - Сказка о попе и о работнике его Балде
- Суриков Иван Захарович (1841–1880)
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910)
  - Белка и волк (Басня)
  - За ягодами
  - Как боролся русский богатырь
  - Комар и лев (Басня)
  - Рассказ аэронавта
  - Старик и смерть (Басня)
  - Три калача и одна баранка (Басня)
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883)
  - Бежин луг (Отрывок)
  - В берёзовой роще (Отрывок из рассказа «Свидание»)
- Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873)
  - «Неохотно и несмело…»
  - «Эти бедные селенья…»
- Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1871)
  - Как рубашка в поле выросла
  - На поле летом

- Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892)
  - Весенний дождь
  - «Кот поёт, глаза прищуря…»
  - «Облаком волнистым…»
  - «Печальная берёза…»
- Русская литература конца XIX — начала XX века
  - Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942)
  - Блок Александр Александрович (1880–1921)
    - «Гроза прошла…»
    - Учитель
  - Бунин Иван Алексеевич (1870–1953)
    - Листопад (Отрывок)
    - Первый снег
    - Экзамены в гимназию (Отрывок из романа «Жизнь Арсеньева»)
  - Есенин Сергей Александрович (1895–1925)
  - Куприн Александр Иванович (1870–1938)
  - Игорь Северянин (Лотарев Игорь Васильевич) (1887–1941)
    - Её питомцы
    - «Кружевеет, розовеет утром лес…»
  - Толстой Алексей Николаевич (1882–1945)
  - Цветаева Марина Ивановна (1892–1941)
  - Саша Чёрный (Гликберг Александр Михайлович) (1880–1932)
    - На коньках
    - «Ну-ка, дети…»
- Современная литература
  - Александрова Зинаида Николаевна (1907–1983)
    - Про девочку Да и мальчика Нет
    - Родина
  - Берестов Валентин Дмитриевич (1928–1998)
    - «Нет, руки зимой не у тех горячей…»
    - Рассказ по картинке
    - Буксир
    - «Он руку над партою тянет и тянет…»
  - Голявкин Виктор Владимирович (1929–2001)
    - Как я помогал маме мыть пол
    - Удивительная профессия
  - Максим Горький (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936)
    - В людях (Отрывок)
    - Детство (Отрывок)

- Драгунский Виктор Юзефович (1913–1972)
  - Бы…
  - Кот в сапогах
- Житков Борис Степанович (1882–1938) Галка
- Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958)
- Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968)
  - Вода из реки Лимпопо
  - Какие бывают дожди (Отрывок из повести «Золотая роза»)
  - Кишата (Из повести «Далёкие годы»)
  - Корзина с еловыми шишками
  - Наедине с осенью
  - «Однажды ночью…»
  - Скрипучие половицы (Отрывок)
  - Стальное колечко (Сказка)
- Пермяк Евгений Андреевич (1902–1982)
  - Мама и мы
  - Некрасивая ёлка
- Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954)
  - Жулька и кот
  - Лягушонок
  - Норка и Жулька
- Роман Сеф (Сеф Роальд Семёнович) (1931–2009)
  - Лопата
  - Странное дело
  - Час рассвета
- Скребицкий Георгий Алексеевич (1903–1964)
  - Белая шубка
  - Маленький лесовод
  - Синица
- Сладков Николай Иванович (1920–1996)
  - Апрельские шутки
  - Бегство цветов
  - Бежал ёжик по дорожке
  - Медведь и солнце
  - Эхо

○ Зарубежная литература
- Сказки народов мира
  - Златовласка (Чешская сказка)
  - Золотое яблоко (Армянская сказка)
  - Музы́ка-чародейник (Белорусская сказка)
- Мифы Древней Греции
- Библейские сказания

- Ганс Христиан Андерсен (1805–1875)
  - Огниво
  - Ромашка
- Якоб Гримм (1785–1863) Вильгельм Гримм (1786–1859)
  - Госпожа Метелица
  - Сладкая каша
- Редьярд Киплинг (1865–1936)
  - Отчего у верблюда горб
  - Рикки-Тикки-Тави
- Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835–1910)

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31

- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

# Новейшая хрестоматия по литературе: 3 класс

# Древнерусская литература и устное народное творчество

# Русские народные песни

## Калинка (*Плясовая песня*)

Ой, вставала я ранёшенько,
Умывалась я белёшенько.
Калинка-малинка моя!
В саду ягода малинка моя!
Одевала черевички на босу,
Я гнала свою корову на росу.
Я гнала свою корову на росу,
Повстречался мне медведь во лесу.
Я медведя испугалася,
Во часты кусты бросалася:
Ой, медведь, да ты мой батюшка,
Ты не тронь мою коровушку.
Ты не тронь мою коровушку,
Не губи мою головушку!
Я коровушку доить буду.
Малых детушек кормить буду!
И-их! Калинка-малинка моя!
В саду ягода малинка моя!

## «Тень-потетень…»

Тень-тень, потетень,
Выше города плетень.
Сели звери под плетень,
Похвалялися весь день.
Похвалялася лиса:
— Всему свету я краса!
Похвалялся зайка:
— Поди, догоняй-ка!
Похвалялися ежи:
— У нас шубы хороши!
Похвалялся медведь:
— Могу песни я петь!

# Русские народные сказки

## Баба-яга

Жили себе дед да баба; дед овдовел и женился на другой жене, а от первой жены осталась у него девочка. Злая мачеха её не полюбила, била её и думала, как бы вовсе извести. Раз отец уехал куда-то, мачеха и говорит девочке: «Поди к своей тетке, моей сестре, попроси у нее иголочку и ниточку — тебе рубашку сшить». А тетка эта была баба-яга костяная нога.

Вот девочка не была глупа да зашла прежде к своей родной тетке. «Здравствуй, тётушка!» — «Здравствуй, родимая! Зачем пришла?» — «Матушка послала к своей сестре попросить иголочку и ниточку — мне рубашку сшить». Та её и научает: «Там тебя, племянушка, будет берёзка в глаза стегать — ты её ленточкой перевяжи; там тебе ворота будут скрипеть и хлопать — ты подлей им под пяточки маслица; там тебя собаки будут рвать — ты им хлебца брось; там тебе кот будет глаза драть — ты ему ветчины дай». Пошла девочка; вот идет, идет и пришла.

Стоит хатка, а в ней сидит баба-яга костяная нога и ткёт. «Здравствуй, тётушка!» — «Здравствуй, родимая!» — «Меня матушка послала попросить у тебя иголочку и ниточку — мне рубашку сшить». — «Хорошо; садись покуда ткать». Вот девочка села за кросна[1], а баба-яга вышла и говорит своей работнице: «Ступай, истопи баню да вымой племянницу, да смотри, хорошенько; я хочу ею позавтракать». Девочка сидит ни жива ни мертва, вся перепуганная, и просит она работницу: «Родимая моя! Ты не столько дрова поджигай, сколько водой заливай, решетом воду носи», — и дала ей платочек.

Баба-яга дожидается; подошла она к окну и спрашивает: «Ткешь ли, племянушка, ткешь ли, милая?» — «Тку, тётушка, тку, милая!» Баба-яга и отошла, а девочка дала коту ветчинки и спрашивает: «Нельзя ли как-нибудь уйти отсюдова?» — «Вот тебе гребешок и полотенце, — говорит кот, — возьми их и убежи; за тобою будет гнаться баба-яга, ты приклони ухо к земле и как заслышишь, что она близко, брось сперва полотенце — сделается широкая-широкая река; если ж баба-яга перейдет через реку и станет догонять тебя, ты опять приклони ухо к земле и как услышишь, что она близко, брось гребешок — сделается дремучий-дремучий лес; сквозь него она уже не проберется!»

Девочка взяла полотенце и гребешок и побежала; собаки хотели её рвать — она бросила им хлебца, и они её пропустили;

ворота хотели захлопнуться — она подлила им под пяточки маслица, и они ее пропустили; берёзка хотела ей глаза выстегать — она ее ленточкой перевязала, и та её пропустила. А кот сел за кросна и ткёт: не столько наткал, сколько напутал. Баба-яга подошла к окну и спрашивает: «Ткёшь ли, племянушка, ткёшь ли, милая?» — «Тку, тётка, тку, милая!» — отвечает грубо кот.

Баба-яга бросилась в хатку, увидела, что девочка ушла, и давай бить кота и ругать, зачем не выцарапал девочке глаза. «Я тебе сколько служу, — говорит кот, — ты мне косточки не дала, а она мне ветчинки дала». Баба-яга накинулась на собак, на ворота, на берёзку и на работницу, давай всех ругать и колотить. Собаки говорят ей: «Мы тебе сколько служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлебца дала». Ворота говорят: «Мы тебе сколько служим, ты нам водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица подлила». Берёзка говорит: «Я тебе сколько служу, ты меня ниточкой не перевязала, она меня ленточкой перевязала».

Работница говорит: «Я тебе сколько служу, ты мне тряпочки не подарила, а она мне платочек подарила».

Баба-яга костяная нога поскорей села на ступу, толкачом погоняет, помелом след заметает и пустилась в погоню за девочкой. Вот девочка приклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга гонится, и уж близко, взяла да и бросила полотенце: сделалась река такая широкая-широкая! Баба-яга приехала к реке и от злости зубами заскрипела; воротилась домой, взяла своих быков и пригнала к реке; быки выпили всю реку дочиста. Баба-яга пустилась опять в погоню. Девочка приклонила ухо к земле и слышит, что баба-яга близко, бросила гребешок: сделался лес такой дремучий да страшный! Баба-яга стала его грызть, но сколь ни старалась — не могла прогрызть и воротилась назад.

А дед уже приехал домой и спрашивает: «Где же моя дочка?» — «Она пошла к тётушке», — говорит мачеха. Немного погодя и девочка прибежала домой. «Где ты была?» — спрашивает отец. «Ах, батюшка! — говорит она. — Так и так — меня матушка посылала к тетке попросить иголочку с ниточкой — мне рубашку сшить, а тётка, баба-яга, меня съесть хотела». — «Как же ты ушла, дочка?» Так и так — рассказывает девочка. Дед как узнал все это, рассердился на жену и расстрелил её; а сам с дочкою стал жить да поживать да добра наживать, и я там был, мед-пиво пил: по усам текло, в рот не попало.

## Василиса Прекрасная

В некотором царстве жил-был купец. Двенадцать лет жил он в

супру́жестве, и родилась у него только одна дочь — Василиса Прекрасная. Когда мать скончалась, девочке было восемь лет. Умирая, мать призвала к себе дочку, вынула из-под одеяла куклу, отдала ей и сказала:

— Слушай, Василисушка! Помни и исполни последние слова мои. Я умираю и вместе с родительским благослове́ньем[2] оставлю тебе вот эту куклу. Носи её всегда при себе и никому не показывай. А когда приключится тебе какое горе, дай ей поесть и спроси у неё совета. Покушает она и скажет тебе, чем помочь несчастью.

Затем мать поцеловала дочку и померла.

После смерти жены купец потужил, как следовало, а потом стал думать, как бы опять жениться. Он был человек хороший — за невестами дело не стало, но больше всех по нраву пришлась ему одна вдовушка. Она была уже в летах, имела своих двух дочерей, почти однолеток Василисы, — стало быть, и хозяйка, и мать опытная. Купец женился на вдовушке, но обманулся и не нашёл в ней доброй матери для своей Василисы. Василиса была первая на всё село красавица, а мачеха и сёстры завидовали её красоте, мучили всевозможными работами, чтобы она от трудов похудела, а от ветра и солнца почернела, так чтоб совсем житья не было.

Василиса всё переносила безропотно и с каждым днем всё хорошела и полнела, а мачеха с дочками худели и дурнели от злости, хотя всегда сидели сложа руки, как барыни.

Как же это так делалось? Василисе помогала её куколка. Без этого где бы девочке сладить со всей работой! Зато Василиса сама, бывало, не съест, а уж куколке оставит самый лакомый кусочек, и вечером, как улягутся, она запрётся в чуланчике, где жила, и потчует её, приговаривая:

— На, куколка, покушай, моего горя послушай! Живу я в доме батюшки, не вижу себе никакой радости. Злая мачеха гонит меня с белого света. Научи ты меня, как мне быть и жить и что делать?

Куколка покушает да потом и даёт ей советы и утешает в горе, а наутро всякую работу справляет за Василису. Та только отдыхает в холодочке да рвёт цветочки, а у неё уж и гряды выполоты, и капуста полита, и вода наношена, и печь вытоплена. Куколка ещё укажет Василисе и травку от загара. Хорошо было жить ей с куколкой.

Прошло несколько лет. Василиса выросла и стала невестой. Все женихи в городе присватываются к Василисе, на мачехиных же дочерей никто не посмотрит. Мачеха злится пуще прежнего и всем женихам отвечает:

— Не выдам младшую прежде старших! — А проводя женихов, побоями вымещает зло на Василисе.

Вот однажды купцу пона́добилось уехать и́з дому на долгое время по торговым делам. Мачеха и перешла на житьё в другой дом. А возле этого дома был дремучий лес, а в лесу на поляне стояла избушка, а в избушке жила Баба-Яга. Никого она к себе не подпускала и ела людей, как цыплят. Перебра́вшись на новое место, мачеха то и дело посылала за чем-нибудь в лес ненави́стную ей Василису, но она всегда возвраща́лась домой благополу́чно: куколка указывала ей дорогу и не подпускала к избушке Бабы-Яги.

Пришла осень. Мачеха как-то раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть. И погасила огонь во всём доме, оставила только одну свечку там, где работали девушки, сама же легла спать. Девушки стали работать. Вот нагорело на свечке, и одна из мачехиных дочерей взяла щипцы, чтоб поправить светильню, да вместо того, по приказу матери, как будто нечаянно и потушила свечку.

— Что теперь нам делать? — запричитали девушки. — Огня нет в целом доме, а уроки наши не кончены. Надо сбегать за огнём к Бабе-Яге!

— Мне от булавок светло! — сказала та, что плела кружево. — Я не пойду.

— И я не пойду, — сказала та, что вязала чулок. — Мне от спиц светло!

— Тебе за огнём идти, — закричали обе. — Ступай к Бабе-Яге!

И вытолкали Василису из горницы.

Василиса пошла в свой чуланчик, поставила перед куклою приготóвленный ужин и сказала:

— На́, куколка, покушай да моего горя послушай: меня посылают за огнём к Бабе-Яге, а Баба-Яга съест меня!

Куколка поела, и глаза её заблестели, как две свечки.

— Не бойся, Василисушка! — сказала она. — Ступай, куда посылают, только меня держи всегда при себе. При мне ничего не станется с тобой у Бабы-Яги!

Василиса собралась, положила куколку в карман и, перекрестившись, пошла в дремучий лес.

Идёт она и дрожит. Вдруг скачет мимо неё всадник: сам белый, одет в белое, конь под ним белый и сбруя на коне белая, — на дворе стало рассветать. Идёт она дальше. Вдруг скачет другой всадник: сам красный, одет в красное и на красном коне, — стало всходить солнце.

Василиса прошла всю ночь и весь день, только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка Бабы-Яги: забор вокруг избы из человеческих костей, на заборе торчат черепа людские с глазами, вместо дверей у ворот — ноги человечьи, вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами. Василиса обомлела от ужаса и стала как вкопанная.

Вдруг едет опять всадник: сам чёрный, одет во всё черное и на чёрном коне. Подскакал к воротам Бабы-Яги и исчез, как сквозь землю провалился, — настала ночь.

Но темнота продолжалась недолго: у всех черепов на заборе засветились глаза, и на всей поляне стало светло как днём. Василиса дрожала со страху, но, не зная куда бежать, оставалась на месте.

Скоро послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели. Выехала и́з лесу Баба-Яга — в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает. Подъехала к воротам, остановилась и, обнюхав вокруг себя, закричала:

— Фу, фу! Русским духом пахнет! Кто здесь?

Василиса подошла к старухе со страхом и, низко поклонясь, сказала:

— Это я, бабушка! Мачехины дочери прислали меня за огнём к тебе!

— Хорошо, — сказала Баба-Яга, — знаю я их. Но ты поживи наперёд да поработай у меня, тогда и дам тебе огня, а коли нет, так я тебя съем!

Потом обратилась к воротам и вскрикнула:

— Эй, заборы мои крепкие, отомкнитесь, ворота мои широкие, отворитесь! — Ворота отворились, Баба-Яга въехала, посвистывая, и за ней вошла Василиса, а потом опять всё заперлось.

Войдя в горницу, Баба-Яга расселась за столом и говорит Василисе:

— Подавай-ка сюда, что там есть в печи: я есть хочу!

Василиса зажгла лучину[3] от тех черепов, что на заборе, и начала таскать из печки да подавать Яге кушанья, а кушаний настряпано было человек на десять. Из погреба принесла квасу, мёду, пива и вина. Всё съела, всё выпила старуха. Василисе оставила только щец немножко, краюшку хлеба да кусочек поросятины.

Стала Баба-Яга спать ложиться и говорит:

— Когда завтра я уеду, ты, смотри, двор вычисти, избу вымети, обед состряпай, бельё приготовь да пойди в за́кром[4], возьми четверть пшеницы и очисти от чернушки. Да чтоб всё было сделано, а не то съем тебя!

После такого наказа Баба-Яга захрапела, а Василиса поставила старухины объедки перед куклою, залилась слезами и сказала:

— На́, куколка, покушай, моего горя послушай! Тяжелую дала мне Баба-Яга работу и грозится съесть меня, коли всего не исполню. Помоги мне!

Куколка в ответ:

— Не бойся, Василиса Прекрасная! Поужинай, помолися да спать ложися — утро мудренее вечера!

Ранёшенько проснулась Василиса, а Баба-Яга уже встала, выглянула в окно: у черепо́в глаза потухают. Вот мелькнул белый всадник — и совсем рассвело. Баба-Яга вышла во двор, свистнула — перед ней явилась ступа с пестом и помелом. Промелькнул красный всадник — взошло солнце. Баба-Яга села в ступу и выехала со двора: пестом погоняет, помелом след заметает.

Осталась Василиса одна, осмотрела дом Бабы-Яги, подивилась изоби́лию во всем и останови́лась в раздумье: за какую работу ей прежде всего приняться? Глядит, а вся работа уже сделана, — куколка выбирала из пшеницы последние зёрна чернушки.

— Ах ты, избави́тельница моя! — сказала Василиса куколке. — Ты от беды меня спасла!

— Тебе осталось только обед состряпать, — отвечала куколка, влезая в карман Василисы. — Состряпай с Богом да и отдыхай на здоровье!

К вечеру Василиса собрала на стол и ждёт Бабу-Ягу. На́чало смеркаться, мелькнул за воротами чёрный всадник — и совсем стемнело, только светились глаза у черепо́в. Затрещали деревья, захрустели листья — едет Баба-Яга. Василиса встретила её.

— Всё ли сделано? — спрашивает Яга.

— Изволь посмотреть сама, бабушка! — молвила Василиса.

Баба-Яга всё осмотрела, подосадовала, что не на что рассердиться, и говорит:

— Ну хорошо!

Потом крикнула:

— Верные мои слуги, сердечные други, смели́те мне пшеницу!

Явились три пары рук, схватили пшеницу и унесли вон с глаз. Баба-Яга наелась, стала ложиться спать и опять даёт наказ Василисе:

— Завтра сделай ты то же, что и нынче, да сверх того возьми из за́крома мак да очисти его от земли по зёрнышку: вишь, кто-то по злобе земли в него намешал!

Сказала старуха, повернулась к стене и захрапела, а Василиса

принялась кормить свою куколку. Куколка поела и сказала ей повчерашнему:

— Молись Богу да ложись спать: утро вечера мудренее, всё будет сделано, Василисушка!

Наутро Баба-Яга опять уехала в ступе со двора, а Василиса с куколкой всю работу тотчас справили. Старуха воротилась, оглядела всё и крикнула:

— Верные мои слуги, сердечные други, выжмите из мака масло!

Явились три пары рук, схватили мак и унесли с глаз. Баба-Яга стала обедать. Она ест, а Василиса молча стоит.

— Что же ты ни о чём не говоришь со мной? — сказала Баба-Яга. — Стоишь как немая!

— Не смею, — отвечала Василиса, — а если позволишь, то мне хотелось бы спросить тебя кой о чём.

— Спрашивай! Только не всякий вопрос к добру ведёт: много будешь знать, скоро состаришься!

— Я хочу спросить тебя, бабушка, только о том, что видела: когда я шла к тебе, меня обогнал всадник на белом коне, сам белый и в белой одежде. Кто он такой?

— Это день мой ясный, — отвечала Баба-Яга.

— Потом обогнал меня другой всадник — на красном коне, сам красный и весь в красное одет. Это кто такой?

— Это моё солнышко красное! — отвечала Баба Яга.

— А что значит чёрный всадник, который обогнал меня у самых твоих ворот, бабушка?

— Это ночь моя тёмная. Все мои слуги верные!

Василиса вспомнила о трёх парах рук, но смолчала.

— Что же ты ещё не спра́шиваешь? — молвит Баба-Яга.

— Будет с меня и этого. Сама ж ты, бабушка, сказала, что много узнаешь — состаришься!

— Хорошо, — сказала Баба-Яга, — что ты спрашиваешь только о том, что видела за двором, а не во дворе! Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем! Теперь я тебя спрошу: как успеваешь ты исполнять работу, которую я задаю тебе?

— Мне помогает благословение моей матери, — отвечала Василиса.

— Так вот оно что! Убирайся же ты от меня, благословенная дочка! Не нужно мне благословенных!

Вытащила она Василису из горницы и вытолкала за ворота. Потом сняла с забора череп с горящими глазами и, наткнув на палку, отдала ей:

— Вот тебе огонь для мачехиных дочек, возьми его: они ведь

за этим тебя сюда послали!

Бегом пустилась Василиса при свете черепа, который погас только с наступлением утра. И наконец к вечеру другого дня добралась до своего дома. Подходя к воро́там, она хотела было бросить уж череп: «Верно, дома, — думает себе, — уж больше в огне не нуждаются». Но вдруг послышался глухой голос из черепа:

— Не бросай меня, неси к мачехе!

Она взглянула на дом мачехи и, не видя ни в одном окне огонька, решилась идти туда с черепом. Впервые встретили её ласково и рассказали, что с той поры, как она ушла, у них не было в доме огня: сами высечь никак не могли, а который огонь приносили от соседей — тот погасал, как только входили с ним в горницу.

— Авось твой огонь будет держаться! — сказала мачеха. Внесли череп в горницу, а глаза из черепа так и глядят на мачеху и её дочерей, так и жгут! Те было прятаться, но куда ни бросятся — глаза всюду за ними так и следят. К утру совсем сожгло их в уголь, одну Василису не тронуло.

Поутру Василиса зарыла череп в землю, заперла дом на замок, пошла в город и попросилась на житьё к одной безродной старушке. Живёт себе и поджидает отца. Вот как-то говорит она старушке:

— Скучно мне сидеть без дела, бабушка! Сходи купи мне льна самого лучшего: я хоть прясть буду!

Старушка купила. Василиса села за дело — работа так и горит у неё, и пряжа выходит ровная да тонкая, как волосок. Набралось пряжи много, пора бы и за тканьё приниматься, да таких берд[5] не найдут, чтобы годились на Василисину пряжу. Никто не берётся и сделать их. Василиса стала просить свою куколку. Та и говорит:

— Принеси-ка мне какой-нибудь старый берд, да старый челнок, да лошадиные гривы: я всё тебе смастерю.

Василиса добыла всё, что надо, и легла спать, а кукла за ночь приготовила славный стан. К концу зимы и полотно выткано, да такое тонкое, что сквозь иглу вместо нитки продеть можно. Весною полотно выбелили, и Василиса говорит старухе:

— Продай, бабушка, это полотно, а деньги возьми себе.

Старуха взглянула на товар и ахнула:

— Нет, дитятко! Такого полотна, кроме царя, носить некому: понесу во дворец!

Пошла старуха к царским палатам да всё мимо окон поха́живает. Царь увидал и спрашивает:

— Что тебе, старушка, на́добно?

— Ваше царское вели́чество, — отвечает старуха, — я принесла дико́винный товар. Никому, кроме тебя, показать не хочу!

Царь приказал впустить к себе старуху и как увидел полотно — вздивова́лся.

— Что хочешь за него? — спросил царь.

— Ему цены нет, царь-батюшка! Я тебе в дар его принесла!

Поблагодари́л царь и отпустил старуху с подарками.

Стали царю из того полотна сорочки шить. Раскроили, да нигде не могли найти швеи, которая взялась бы их сшить. Долго искали, наконец царь позвал старуху и говорит:

— Умела ты напрясть и соткать такое полотно, умей из него и сорочки сшить!

— Не я, государь, пряла и ткала полотно, — сказала старуха, — это работа приёмыша моего — девушки.

— Ну так пусть и сошьёт она!

Воротилась старушка домой и рассказала обо всём Василисе.

— Я знала, — говорит ей Василиса, — что эта работа моих рук не ми́нует!

Заперлась в свою горницу и принялась за работу. Шила она не покладая́ рук, и скоро дюжина сорочек была готова.

Старуха понесла к царю сорочки, а Василиса умылась, причесалась, оделась и села под окном. Сидит себе и ждёт, что будет. Видит: на двор к старухе идёт царский слуга. Вошёл в горницу и говорит:

— Царь-государь хочет видеть искусницу, что сшила ему сорочки, и наградить её из своих царских рук!

Пошла Василиса и явилась пред очи царские. Как увидел царь Василису Прекрасную, так и влюбился в неё без памяти.

— Нет, красавица моя, — говорит он, — не расстанусь я с тобой, ты будешь моей женою!

Взял царь Василису за белые руки, посадил её подле себя, а там и свадебку сыграли. Скоро воротился и отец Василисы, порадовался её судьбе и остался жить при дворе дочери. Старушку Василиса взяла к себе, а куколку по конец жизни своей всегда носила в кармане.

## Как мужик гусей делил

У одного бедного мужика не стало хлеба. Вот он и задумал попросить хлеба у барина. Чтобы было с чем идти к барину, он поймал гуся, изжарил его и понёс. Барин принял гуся и говорит мужику:

— Спасибо, мужик, тебе за гуся; только не знаю, как мы

твоего гуся делить будем. Вот у меня жена, два сына да две дочери. Как бы нам разделить гуся без обиды?

Мужик говорит:

— Я разделю.

Взял ножик, отрезал голову и говорит барину:

— Ты всему дому голова — тебе голова.

Потом отрезал задок, подаёт барыне.

— Тебе, — говорит, — дома сидеть, за домом смотреть — тебе задок.

Потом отрезал лапки и подаёт сыновьям.

— Вам, — говорит, — ножки — топтать отцовские дорожки.

А дочерям крылья.

— Вы, — говорит, — скоро из дома улетите, вот вам по крылышку. А остаточки себе возьму!

И взял всего гуся.

Барин посмеялся, дал мужику хлеба и денег.

Услыхал богатый мужик, что барин за гуся наградил бедного мужика хлебом и деньгами, зажарил пять гусей и понёс к барину.

Барин говорит:

— Спасибо за гусей. Да вот у меня жена, два сына, две дочки — всех шестеро. Как бы нам поровну разделить твоих гусей?

Стал богатый мужик думать и ничего не придумал.

Послал барин за бедным мужиком и велел делить.

Бедный мужик взял одного гуся, дал барину с барыней и говорит:

— Вот вас трое с гусём.

Одного дал сыновьям:

— И вас, — говорит, — трое.

Одного дал дочерям:

— И вас трое.

А себе взял двух гусей.

— Вот, — говорит, — и нас трое с гусями, — всё поровну.

Барин посмеялся и дал бедному мужику ещё денег и хлеба, а богатого прогнал.

## Хаврошечка

Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся.

К таким-то и попалась Крошечка-Хаврошечка. Осталась она сиротой, взяли её эти люди, выкормили и над работой заморили: она и ткёт, она и прядёт, она и прибирает, она и за всё отвечает.

А были у её хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Триглазка.

Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а Крошечка-Хаврошечка на них работала: их и обшивала, для них пряла и ткала — и слова доброго никогда не слыхала.

Выйдет, бывало, Крошечка-Хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать:

— Коровушка-матушка! Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено пять пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.

А коровушка ей в ответ:

— Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь — все будет сработано.

Так и сбывалось. Влезет Хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого — все готово: и наткано, и побелено, и в трубы покатано.

Отнесет она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук, а Крошечке-Хаврошечке ещё больше работы задаст.

Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет её, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке.

Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:

— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает: и ткёт, и прядёт, и в трубы катает?

Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес, пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание, распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:

— Спи, глазок, спи, глазок!

Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка всё наткала, и побелила, и в трубы скатала.

Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь — Двуглазку:

— Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает.

Двуглазка пошла с Хаврошечкой, забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:

— Спи, глазок, спи, другой!

Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка всё спала.

Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь — Триглазку, а сироте ещё больше работы задала.

Триглазка попрыгала, попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала.

Хаврошечка поет:

— Спи, глазок, спи, другой!

А о третьем глазке и забыла.

Два глаза у Триглазки заснули, а третий глядит и всё видит: как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала.

Триглазка вернулась домой и матери всё рассказала.

Старуха обрадовалась, на другой же день пришла к мужу:

— Режь рябую корову!

Старик и так и сяк:

— Что ты, старуха, в уме ли? Корова молодая, хорошая!

— Режь, да и только!

Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:

— Коровушка-матушка! Тебя резать хотят.

А коровушка ей отвечает:

— А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай: каждое утро косточки водою поливай.

Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала: голодом голодала, мяса её в рот не брала, косточки её зарыла и каждый день в саду поливала.

И выросла из них яблонька, да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто ни едет мимо — останавливается, кто проходит близко — заглядывается.

Много ли времени прошло, мало ли — Одноглазка, Двуглазка и Триглазка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек — богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки, стал затрагивать девушек:

— Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдёт.

Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне.

А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами.

Сестры хотели их сбить — листья глаза засыпают, хотели сорвать — сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались — руки изодрали, а достать не могли.

Подошла Хаврошечка — веточки к ней приклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лиха не знать.

# Былины

## Илья Муромец и Калин-Царь

Как Владимир князь да стольнокиевский
Поразгневался на старого казака Илью Муромца,
Засадил его во погреб во глубокиий,
Во глубокий погреб во холодныий
Да на три-то года поры-времени.
А у славного у князя у Владимира
Была дочь да одинакая,
Она видит: это дело есть немалое,
Что посадил Владимир князь да стольнокиевский
Старого казака Илью Муромца
В тот во погреб во холодный.
А он мог бы постоять один за веру,
за отечество,
Мог бы постоять один за Киев-град,
Мог бы постоять один за церкви за соборные,
Мог бы поберечь он князя да Владимира,
Мог бы поберечь Опраксу Королевичну.
Приказала сделать да ключи поддельные,
Положила-то людей да потаённыих,
Приказала-то на погреб на холодный
Да снести перины да подушечки пуховые,
Одеяла приказала снести тёплые,
Она ествушку поставить да хорошую
И одежду сменять с нова-на́-ново
Тому старому казаку Илье Муромцу.
А Владимир-князь про то не ведает.
И воспылал-то тут собака Калин-царь
на Киев-град,
И хотит он разорить да стольный Киев-град,
Чернедь-мужичков он всех повырубить,
Божьи церкви все на дым спустить,
Князю-то Владимиру да голову срубить
Да со той Опраксой Королевичной.
Посылает-то собака Калин-царь посланника,
А посланника во стольный Киев-град,
И дает ему он грамоту посыльную.
И посланнику-то он наказывал:
«Как поедешь ты во стольный Киев-град,

Будешь ты, посланник, в стольном Киеве
Да у славного у князя у Владимира,
Будешь у него на широком дворе
И сойдешь как тут ты со добра коня,
Да й спущай коня ты на посыльный двор,
Сам поди-ко во палату белокаменну;
Да пройдёшь палатой белокаменной,
Войдёшь в его столовую во горенку,
На пяту́ ты дверь да поразмахивай,
Не снимай-ко кивера с головушки,
Подходи-ко ты ко столику к дубовому,
Становись-ко супротив князя Владимира,
Полагай-ко грамоту на золот стол,
Говори-ко князю ты Владимиру:
«Ты Владимир, князь да стольнокиевский,
Ты бери-тко грамоту посыльную
Да смотри, что в грамоте написано,
Да гляди, что в грамоте да напечатано;
Очищай-ко ты все улички стрелецкие,
Все великие дворы да княженецкие
По всему-то городу по Киеву,
А по всем по улицам широкиим
Да по всем-то переулкам княженецкиим
Наставь сладких хмельных напиточков,
Чтоб стояли бочка-о́-бочку близко-по́-близку,
Чтобы было у чего стоять собаке царю Калину
Со своими-то войсками со великими
Во твоем во городе во Киеве».

[Приезжал посол в стольный Киев-град
Ко князю ко Владимиру на широкий двор.
Спущает коня на посыльный двор,
Сам идет в палату белокаменну;
На пяту он дверь поразмахивал,
Креста он не клал по-писаному,
И не вел поклонов по-учёному
Ни самому-то князю Владимиру,
И ни его князьям подколенныим.
Полагал он грамоту посыльную на золот стол.]

Тут Владимир князь да стольнокиевский
Брал-то книгу он посыльную,
Да и грамоту ту распечатывал,
И смотрел, что в грамоте написано,

И смотрел, что в грамоте да напечатано,
И что велено очистить улицы стрелецкие
И большие дворы княженецкие,
Да наставить сладких хмельных напиточков
А по всем по улицам по широкиим
Да по всем-то переулкам княженецкиим.
Тут Владимир князь да стольнокиевский
Видит: есть это дело немалое,
А немалое, дело-то, великое,
А садился-то Владимир да на червлёный стул.
Да писал-то ведь он грамоту повинную:
«Ай же ты собака да и Калин-царь!
Дай-ко мне ты поры-времечка на три года,
На три года дай и на три месяца,
На три месяца да ещё на три дня,
Мне очистить улицы стрелецкие,
Все великие дворы да княженецкие,
Накурить мне сладких хмельных напиточков
Да наставить по всему по городу по Киеву
Да по всем по улицам широкиим,
По всем славным переулкам княженецкиим».
Отсылает эту грамоту повинную,
Отсылает ко собаке царю Калину.
Ай собака тот да Калин-царь
Дал ему он поры-времечка на три года,
На три года дал и на три месяца,
На три месяца да ещё на три дня.
А неделя за неделей, как река, бежит,
Прошло поры-времечка да три года,
А три года да три месяца,
А три месяца и еще три дня.
Тут подъехал ведь собака Калин-царь,
Он подъехал ведь под Киев-град
Со своими со войсками со великими.
Тут Владимир князь да стольнокиевский,
Он по горенке да стал похаживать,
С ясных очушек он ронит слезы горючие,
Шёлковым платком князь утирается,
Говорит Владимир-князь да таковы слова:
«Нет жива-то старого казака Ильи Муромца,
Некому стоять теперь за веру, за отечество,
Некому стоять за церкви ведь за Божие,
Некому стоять-то ведь за Киев-град,
Да ведь некому сберечь князя Владимира

Да и той Опраксы Королевичны!»
Говорит ему любима дочь таковы слова:
«Ай ты батюшко Владимир, князь наш
стольнокиевский,
Ведь есть жив-то старый казак да Илья Муромец,
Ведь он жив на погребе на холодноем».
Тут Владимир князь да стольнокиевский,
Он скорёшенько берет да золоты ключи
Да идет на погреб на холодный,
Отмыкает он скоренько погреб да холодный
Да подходит ко решёткам ко железным;
Растворил-то он решётки да железные,
Да там старый казак да Илья Муромец,
Он во погребе сидит-то, сам не старится,
Там перинушки, подушечки пуховые,
Одеяла снесены там тёплые,
Евствушка поставлена хорошая,
А одежица на нём да живет сменная.
Он берет его за ручушки за белые,
За его за перстни за злачёные,
Выводил его со погреба холодного,
Приводил его в палату белокаменну,
Становил-то он Илью да супротив себя,
Целовал в уста его во сахарны,
Заводил его за столики дубовые,
Да садил Илью-то он подле себя,
И кормил его да евствушкой сахарною,
Да поил-то питьицем медвяным,
Говорил-то он Илье да таковы слова:
«Ай же старый ты казак да Илья Муромец!
Наш-то Киев-град нынь в полону стоит,
Обошел собака Калин-царь наш Киев-град
Со своими со войсками со великими.
А постой-ко ты за веру, за отечество,
И постой-ко ты за славный Киев-град,
Да постой за матушки Божьи церкви,
Да постой-ко ты за князя за Владимира,
Да постой-ко за Опраксу Королевичну!»
Как тут старый казак да Илья Муромец
Выходил он со палаты белокаменной,
Шёл по городу он да по Киеву,
Заходил в свою палату белокаменну,
Да спросил-то как он паробка любимого,
Шел со паробком да со любимыим

На свой на славный на широкий двор.
Заходил он во конюшенку в стоялую,
Посмотрел добра коня он богатырского.
Говорил Илья да таковы слова:
«Ай же ты, мой паробок любимый,
Хорошо держал моего коня ты богатырского!»
Выводил добра коня с конюшенки стоялыи.
Ай на тот на славный на широкий двор.
Ай тут старый казак да Илья Муромец
Стал добра коня он засёдлывать:
На коня накладывает потничек,
А на потничек накладывает войлочек,
Потничек он клал да ведь шелковенький,
А на потничек подкладывал подпотничек,
На подпотничек седелко клал черкасское,
А черкасское седелышко не держано,
И подтягивал двенадцать подпругов шелковых,
И шпилечики он втягивал булатные,
А стремяночки покладывал булатные,
Пряжечки покладывал он красна золота,
Да не для красы-угожества,
Ради крепости всё богатырскоей:
Ещё подпруги шелковы тянутся, да они
не́ рвутся,
Да булат-железо гнётся, не ломается,
Пряжечки да красна золота,
Они мокнут, да не ржавеют.
И садился тут Илья да на добра коня,
Брал с собой доспехи крепки богатырские:
Во-первых, брал палицу булатную,
Во-вторых, брал копьё бурзамецкое,
А ещё брал свою саблю вострую,
А ещё брал шалыгу подорожную,
И поехал он из города из Киева.
Выехал Илья да во чисто поле,
И подъехал он ко войскам ко татарскиим
Посмотреть на войска на татарские:
Нагнано-то силы много-множество.
Как от покрику от человечьего,
Как от ржанья лошадиного
Унывает сердце человеческо.
Тут старый казак да Илья Муромец
Он поехал по раздольицу чисту полю,
Не мог конца-краю силушке наехати.

Он повыскочил на гору на высокую,
Посмотрел на все на три-четыре стороны,
Посмотрел на силушку татарскую,
Конца-краю силы насмотреть не мог.
И повыскочил он на́ гору на дру́гую,
Посмотрел на все на три-четыре стороны,
Конца-краю силы насмотреть не мог.
Он спустился с той со горы со высокий,
Да он ехал по раздольицу чисту полю
И повыскочил на третью гору на высокую,
Посмотрел-то под восточную ведь сторону,
Насмотрел он под восточной стороной,
Насмотрел он там шатры белые
И у белых у шатров-то кони богатырские.
Он спустился с той горы высокий
И поехал по раздольицу чисту полю.
Приезжал Илья ко шатрам ко белыим,
Как сходил Илья да со добра коня
Да у тех шатров у белыих
А там стоят кони богатырские,
У того ли полотна стоят у белого,
Они зоблют-то пшену да белоярову.
Говорит Илья да таковы слова:
«Поотведать мне-ка счастия великого».
Он накинул поводья шелковые
На добра коня да богатырского
Да спустил коня ко полотну ко белому:
«Ай допустят ли-то кони богатырские
Моего коня да богатырского
Ко тому ли полотну ко белому
Позобать пшену да белоярову?»
Его добрый конь идет-то грудью к полотну,
А идет зобать пшену да белоярову.
Старый казак да Илья Муромец
А идет он да во бел шатер.
Приходит Илья Муромец во бел шатер.
В том белом шатре двенадцать богатырей,
И богатыри все святорусские,
Они сели хлеба-соли кушати,
А и сели-то они да пообедати.
Говорит Илья да таковы слова:
«Хлеб да соль, богатыри святорусские,
А и крёстный ты мой батюшка,
А Самсон да ты Самойлович!»

Говорит ему да крёстный батюшка:
«Ай поди ты, крестничек любимый,
Старый казак да Илья Муромец,
А садись-ко с нами пообедати».
И он встал да на резвы ноги,
С Ильей Муромцем да поздоровкались,
Поздоровкались они да целовалися,
Посадили Илью Муромца за единый стол
Хлеба-соли да покушати.
Их двенадцать-то богатырей,
Илья Муромец да он тринадцатый.
Они попили, поели, пообедали,
Выходили з-за стола из-за дубового,
Говорил им старый казак да Илья Муромец:
«Крёстный ты мой батюшка, Самсон
Самойлович,
И вы русские могучие бога́тыри,
Вы седлайте-тко добры́х коней
Да садитесь вы на добрых коней,
Поезжайте-тко во раздольице чисто поле
Под тот под славный стольный Киев-град.
Как под нашим-то городом под Киевом
А стоит собака Калин-царь,
А стоит со войсками со великими,
Разорить он хочет стольный Киев-град,
Чернедь-мужиков он всех повырубить,
Божьи церкви все на дым спустить,
Князю-то Владимиру да со Опраксой Королевичной
Он срубить-то хочет буйны головы.
Вы постойте-тко за веру, за отечество,
Вы постойте-тко за славный стольный
Киев-град,
Вы постойте-тко за церкви да за Божие,
Вы поберегите-ко князя Владимира
И со той Опраксой Королевичной!»
Говорит ему Самсон Самойлович:
«Ай же крестничек ты мой любимый,
Старый казак да Илья Муромец!
Ай не будем мы да и коней седлать,
И не будем мы садиться на добрых коней,
Не поедем мы во славно во чисто поле,
Да не будем мы стоять за веру, за отечество,
Да не будем мы стоять за стольный Киев-град,
Да не будем мы стоять за матушки божьи

церкви,
Да не будем мы беречь князя Владимира
Да еще с Опраксой Королевичной.
У него есть много да князей, бояр,
Кормит их и поит да и жалует,
Ничего нам нет от князя от Владимира».
Говорит-то старый казак Илья Муромец:
«Ай же ты мой крёстный батюшка,
Ай Самсон да ты Самойлович!
Это дело у нас будет нехорошее.
Как собака Калин-царь разорит да Киев-град,
Да он чернедь-мужиков-то всех повырубит,
Да он Божьи церкви все на дым спустит.
Да князю Владимиру с Опраксой Королевичной
А он срубит им да буйные головушки,
Вы седлайте-тко добрых коней
И садитесь-ко вы на добрых коней,
Поезжайте-тко в чисто поле под Киев-град,
И постойте вы за веру, за отечество,
И постойте вы за славный стольный Киев-град,
И постойте вы за церкви да за Божие.
Вы поберегите-ка князя Владимира
И со той с Опраксой Королевичной».
Говорит Самсон Самойлович да таковы слова:
«Ай же крестничек ты мой любимый,
Старый казак да Илья Муромец!
Ай не будем мы да и коней седлать,
И не будем мы садиться на добрых коней,
Не поедем мы во славно во чисто поле,
Да не будем мы стоять за веру, за отечество,
Да не будем мы стоять за стольный Киев-град,
Да не будем мы стоять за матушки божьи
церкви,
Да не будем мы беречь князя Владимира
Да еще с Опраксой Королевичной.
У него есть много да князей, бояр,
Кормит их и поит да жалует,
Ничего нам нет от князя от Владимира».
Говорит-то старый казак Илья Муромец:
«Ай же ты мой крёстный батюшка,
Ай Самсон да ты Самойлович!
Это дело у нас будет нехорошее.
Вы седлайте-тко добрых коней
И садитесь-ко вы на добрых коней,

Поезжайте-тко в чисто поле под Киев-град,
И постойте вы за веру, за отечество,
И постойте вы за славный стольный Киев-град,
И постойте вы за церкви да за Божие,
Вы поберегите-тко князя Владимира
И со той с Опраксой Королевичной».
Говорит ему Самсон Самойлович:
«Ай же крестничек ты мой любимый,
Старый казак да Илья Муромец!
Ай не будем мы да и коней седлать,
И не будем мы садиться на добрых коней,
Не поедем во славно во чисто поле,
Да не будем мы стоять за веру, за отечество,
Да не будем мы стоять за стольный Киев-град,
Да не будем мы стоять за матушки Божьи
церкви,
Да не будем мы беречь князя Владимира
Да еще с Опраксой Королевичной.
У него есть много да князей, бояр,
Кормит их и поит да жалует,
Ничего нам нет от князя от Владимира».
Ай тут старый казак да Илья Муромец
Он как видит, что дело ему не по́люби,
Выходит-то Илья да со бела шатра,
Приходил к добру коню да богатырскому,
Брал его за поводья шелковые,
Отводил от полотна от белого.
А от той пшены от белояровой,
Да садился Илья на добра коня.
Он поехал по раздольицу чисту полю
И подъехал ко войскам ко татарскиим.
Не ясен сокол напущает на гусей, на лебедей
Да на малых перелётных на серых утушек,
Напущает-то богатырь святорусский
А на ту ли на силу на татарскую.
Он спустил коня да богатырского
Да поехал ли по той по силушке татарскоей.
Стал он силушку конём топтать,
Стал конём топтать, копьём колоть,
Стал он бить ту силушку великую,
А он силу бьёт, будто траву косит.
Его добрый конь да богатырский
Испровещился языком человеческим:
«Ай же славный богатырь святорусский,

Хоть ты наступил на силу на великую,
Не побить тебе той силушки великий:
Нагнано у собаки царя Калина,
Нагнано той силы много-множество,
И у него есть сильные богатыри,
Поленицы есть да удалые;
У него, собаки царя Калина,
Сделаны-то трои ведь подкопы да глубокие
Да во славном во раздольице чистом поле.
Когда будешь ездить по тому раздольицу чисту полю,
Будешь бить ты силу ту великую,
Как просядем мы в подкопы во глубокие,
Так из первыих подкопов я повыскочу
На тебя оттуль-то я повыздыну;
Как просядем мы в подкопы-то во другие,
И оттуль-то я повыскочу
И тебя оттуль-то я повыздыну;
Еще в третьи во подкопы во глубокие,
А ведь тут-то я повыскочу,
Да оттуль тебя-то не повыздыну,
Ты останешься в подкопах во глубокиих».
Еще старому казаку Илье Муромцу,
Ему дело-то ведь не слюбилося,
И берет он плетку шелкову в белы руки,
А он бьёт коня да по крутым рёбрам,
Говорил он коню таковы слова:
«Ай же ты, собачище изменное,
Я тебя кормлю, пою да и улаживаю,
А ты хочешь меня оставить во чистом поле,
Да во тех подкопах во глубокиих!»
И поехал Илья по раздольицу чисту полю
Во ту во силушку великую,
Стал конем топтать да и копьем колоть.
А он бьёт-то силу, как траву косит;
У Ильи-то сила не уменьшится.
И просел он во подкопы во глубокие,
Его добрый конь оттуль повыскочил,
Он повыскочил, Илью оттуль повыздынул.
И спустил он коня да богатырского
По тому раздольицу чисту полю
Во ту во силушку великую,
Стал конём топтать да копьём колоть.
И он бьет-то силу, как траву косит;

У Ильи-то сила меньше ведь не ставится,
На добром коне сидит Илья не старится.
И просел он с конем да богатырскиим,
И попал он во подкопы-то во другие;
Его добрый конь оттуль повыскочил
Да Илью оттуль повыздынул.
И спустил он коня да богатырского
По тому раздольицу чисту полю
Во ту во силушку великую,
Стал конём топтать да и копьём колоть.
Он бьёт-то силу, как траву косит;
У Ильи-то сила меньше ведь не ставится,
На добром коне сидит Илья не старится.
И попал он во подкопы-то во третие,
Он просел с конем в подкопы те глубокие;
Его добрый конь да богатырский
Ещё с третьих подкопов он повыскочил,
Да оттуль Илью он не повыздынул,
Сголзанул Илья да со добра коня,
И остался он в подкопе во глубокоем.
Да пришли татара-то поганые
Да хотели захватить они добра коня;
Его конь-то богатырский
Не сдался им во белы руки,
Убежал-то добрый конь да во чисто поле.
Тут пришли татары да поганые,
Нападали на старого казака Илью Муромца,
И сковали ему ножки резвые,
И связали ему ручки белые.
Говорили-то татары таковы слова:
«Отрубить ему да буйную головушку».
Говорят ины татара таковы слова:
«Ай не надо рубить ему буйной головы,
Мы сведем Илью к собаке царю Калину,
Что он хочет, то над ним да сделает».
Повели Илью да по чисту полю
А ко тем палаткам полотняныим.
Приводили ко палатке полотняноей,
Привели его к собаке царю Калину,
Становили супротив собаки царя Калина.
Говорили татары таковы слова:
«Ай же ты собака да наш Калин-царь!
Захватили мы да старого казака Илью Муромца
Да во тех-то подкопах во глубокиих

И привели к тебе, к собаке царю Калину;
Что ты знаешь, то над ним и делаешь».
Тут собака Калин-царь говорил Илье да таковы слова:
«Ай ты старый казак да Илья Муромец,
Молодой щенок да напустил на силу великую,
Тебе где-то одному побить мою силу великую!
Вы раскуйте-ка Илье да ножки резвые,
Развяжите-ка Илье да ручки белые».
И расковали ему ножки резвые,
Развязали ему ручки белые.
Говорил собака Калин-царь да таковы слова:
«Ай же старый казак да Илья Муромец!
Да садись-ко ты со мной за единый стол,
Ешь-ко ествушку мою сахарную,
Да и пей-ко мои питьица медвяные,
И одежь-ко ты мою одёжу драгоценную,
И держи-тко мою золоту казну,
Золоту казну держи по надобью,
Не служи-тко ты князю Владимиру,
Да служи-тко ты собаке царю Калину».
Говорил Илья да таковы слова:
«А не сяду я с тобой да за единый стол,
Не буду есть твоих ествушек сахарныих,
Не буду пить твоих питьецев медвяныих,
Не буду носить твои одёжи драгоценные,
Не буду держать твоей бессчетной золотой казны,
Не буду служить тебе, собаке царю Калину,
Еще буду служить я за веру, за отечество,
Буду стоять за стольный Киев-град,
Буду стоять за церкви за Господние,
Буду стоять за князя за Владимира
И со той Опраксой Королевичной».
Тут старый казак да Илья Муромец
Он выходит со палатки полотняноей
Да ушел в раздольице в чисто поле.
Да теснить стали его татары-ты поганые,
Хотят обневолить они старого казака
Илью Муромца.
А у старого казака Ильи Муромца
При себе да не случилось доспехов крепкиих,
Нечем-то ему с татарами да попротивиться.
Старый казак да Илья Муромец

Видит он — дело немалое:
Да схватил татарина он за ноги,
Так и стал татарином помахивать,
Стал он бить татар татарином,
И от него татары стали бегати,
И прошёл он сквозь всю силушку татарскую.
Вышел он в раздольице чисто поле,
Да он бросил-то татарина да в сторону.
То идет он по раздольицу чисту полю,
При себе-то нет коня да богатырского,
При себе-то нет доспехов крепкиих.
Засвистал в свисток Илья он богатырский,
Услыхал его добрый конь да во чистом поле.
Прибежал он к старому казаку Илье Муромцу.
Еще старый казак да Илья Муромец
Как садился он да на добра коня
И поехал по раздольицу чисту полю,
Выскочил он да на гору да высокую,
Посмотрел-то под восточную он сторону.
А под той ли под восточной под сторонушкой,
А у тех ли у шатров у белыих
Стоят добры кони богатырские.
А тут старый казак да Илья Муромец
Опустился он да со добра коня,
Брал свой тугой лук разрывчатый в белы ручки,
Натянул тетивочку шелковеньку,
Наложил он стрелочку калёную
И спущал ту стрелочку во бел шатёр.
Говорил Илья да таковы слова:
«А лети-тко, стрелочка, во бел шатёр,
Да сыми-тко крышку со бела шатра,
Да пади-тко, стрелка, на белы груди
К моему ко батюшке ко крёстному,
И проголзни-тко по груди ты по белый,
Сделай-ко ты сцапину да маленьку,
Маленькую сцапинку да невеликую.
Он и спит там, прохлаждается,
А мне здесь-то одному да мало можется».
Он спустил тетивочку шелковую,
Да спустил он эту стрелочку калёную,
Да просвистнула та стрелочка калёная
Да во тот во славный во бел шатер,
Она сняла крышку со бела шатра,
Пала она, стрелка, на белы груди

Ко тому ли-то Самсону ко Самойловичу,
По белой груди стрелочка проголзнула,
Сделала она да сцапинку-то маленьку.
Тут славный богатырь да святорусский,
Ай Самсон-то ведь Самойлович,
Пробудился-то Самсон от крепка сна,
Пораскинул свои очи ясные:
Да как снята крыша со бела шатра,
Пролетела стрелка по белой груди,
Она сцапиночку сделала да на белой груди.
Он скорошенько стал на резвы ноги,
Говорил Самсон да таковы слова:
«Ай же славные мои богатыри, вы святорусские,
Вы скорёшенько седлайте-ко добрых коней!
Да садитесь-ко вы на добрых коней!
Мне от крестничка да от любимого
Прилетели-то подарочки да нелюбимые:
Долетела стрелочка калёная
Через мой-то славный бел шатёр,
Она крышу сняла да со бела шатра,
Да проголзнула-то стрелка по белой груди,
Она сцапинку-то дала по белой груди,
Только малу сцапинку-то дала невеликую.
Погодился мне, Самсону, крест на вороте,
Крест на вороте шести пудов.
Если б не был крест да на моей груди,
Оторвала бы мне буйну голову».
Тут богатыри все святорусские
Скоро ведь седлали да добрых коней,
И садились молодцы да на добрых коней,
И поехали раздольицем чистым полем
Ко тем силам ко татарскиим.
А со той горы да со высокий
Усмотрел ли старый казак да Илья Муромец,
А то едут ведь богатыри чистым полем,
А то едут ведь да на добрых конях.
И спустился он с горы высокий
И подъехал он к богатырям ко святорусскиим:
Их двенадцать-то богатырей, Илья тринадцатый.
И приехали они ко силушке татарскоей,
Припустили коней богатырскиих,
Стали бить-то силушку татарскую,
Притоптали тут всю силушку великую
И приехали к палатке полотняноей.

Сидит собака Калин-царь в палатке полотняноей.
Говорят богатыри да святорусские:
«А срубить-то буйную головушку
А тому собаке царю Калину».
Говорил старый казак да Илья Муромец:
«А почто рубить ему да буйну голову?
Мы свезем его во стольный Киев-град
Да ко славному ко князю ко Владимиру».
Привезли его, собаку царя Калина
А во тот во славный Киев-град.
Привели его в палату белокаменну
Да ко славному ко князю ко Владимиру.
Тут Владимир-князь да стольнокиевский
Садил собаку за столики дубовые,
Кормил его ествушкой сахарною
Да поил-то питьицем медвяным.
Говорил ему собака Калин-царь да таковы
слова:
«Ай же ты Владимир-князь да стольнокиевский,
Не руби-тко мне да буйной головы!
Мы напишем промеж собой записи великие:
Буду тебе платить дани век и по веку,
А тебе-то князю я Владимиру!»
А тут той старинке и славу поют,
А по тыих мест старинка и покончилась.

# Русская литература XIX века

# Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860) «Мой Лизочек так уж мал…»

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что из крыльев комаришки
Сделал две себе манишки
И — в крахмал!

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что из грецкого ореха
Сделал стул, чтоб слушать эхо,
И кричал!

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что из листика сирени
Сделал зонтик он для тени
И гулял!

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что из скорлупы яичной
Фаэтон[6] себе отличный
Заказал!

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что из скорлупы рачонка —
Сшил четыре башмачонка
И — на бал!

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что, одувши одуванчик,
Он набил себе диванчик,
Тут и спал!

Мой Лизочек так уж мал, так уж мал,
Что наткать себе холстины
Пауку из паутины
Заказал!

# Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859)
# Буран

…Снеговая белая туча, огромная как небо, обтянуа
елой вечерней зари быстро задёрнула густою пеленою.

Вдруг настала ночь… наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес… Всё одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой тёмной осенней ночи!

Всё слилось, всё смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного праха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистел, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу обвивался, как змей, и душил всё, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, останавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной природы…

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми…

Наконец стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и тогда ещё продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевою.

Прошла ещё ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего… Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах…

# Н. Гарин (Михайловский Николай Георгиевич) (1852–1906)
# Детство Тёмы. Поступление в гимназию (*глава из книги*)

## *1*

Подоспела гимназия[7]. Тёма держал в первый класс[8] и выдержал. Накануне начала уроков Тёма в первый раз надел форму.

Это был счастливый день!

Все смотрели на него и говорили, что форма ему очень идёт. Тёма отпросился на наёмный двор[9]. Он шёл сияющий и счастливый.

Было августовское воскресенье. Семья Кейзера, вся налицо, сидит за обедом перед дверями своей квартиры. Благообразный старик, точильщик Кейзер, чопорно и сухо меряет Тёму глазами. Кейзеровна вся исчезла в доброй, ласковой улыбке, и её белый высокий чепчик усердно кивает Тёме.

— Здравствуйте, здравствуйте, Тёмочка! — говорит Кейзеровна. — Ну вот вы, слава Богу, и гимназист… совсем как генерал…

Тёма сомневается, чтобы он был похож на генерала.

— Папеньке и маменьке радость, — продолжает Кейзеровна. — Папенька здоров?

— Здоров, — отвечает Тёма, смотря в пространство и роя сапогом землю.

— И маменька здорова? и братик? и сестрички? Ну слава Богу, что все здоровы.

Тёма чувствует, что можно идти дальше, и тихо, чинно двигается вперёд… У дверей своей лачуги сидит громадный Яков.

— Яков, я уже поступил в гимназию, — говорит Тёма, останавливаясь перед ним.

— В гимназию, — добродушно тянет Яков и улыбается.

— Это мой мундир.

— Мундир? — опять повторяет Яков и улыбается.

Наступает молчание. Яков смотрит на большой палец ноги, как-то особенно загнувшийся к соседу, и протягивает к нему руку.

## *2*

Тёма идёт дальше. Появление Тёмы перед ватагой произвело надлежащий эффект. Тёма наслаждается впечатлением и рассказывает, с чужих слов, какие в гимназии порядки.

— Если кто шалит, а придёт учитель и спросит, кто шалил, а другой скажет — тот ябеда. Как только учитель уйдёт, его сейчас поведут в переднюю, накроют шинелями и бьют.

Ватага, поджав босые грязные ноги, сидела под забором и с разинутыми ртами слушала Тёму. Когда небольшой запас сведений Тёмы о гимназии был исчерпан, кто-то предложил идти купаться. Поднялся вопрос, можно ли теперь идти и Тёме. Тёма решил, что если принять некоторые меры предосторожности, то можно. Он приказал ватаге идти поодаль, потому что теперь уже неловко ему — гимназисту — идти рядом с ними. Тёма шёл впереди, а вся ватага, сбившись в тесную кучу, робко шла сзади, не сводя глаз со своего преобразившегося сочлена. Тёма выбирал самые людные улицы, шёл и беспрестанно оглядывался назад. Иногда он забывал и по старой памяти равнялся с ватагой, но, вспомнив, опять уходил вперёд. Так они все дошли до берега моря.

## *3*

Ах, какое чудное было море! Всё оно точно золотыми кружками отливало и сверкало на солнце и тихо, едва слышно билось о мягкий песчаный берег. А там, на горизонте, оно, уже совсем спокойное и синее-синее, уходило в бесконечную даль. Там, казалось, было ещё прохладнее.

Но и тут хорошо, когда скинешь горячий мундир и останешься в одной рубахе. Тёма оглянулся, где бы уложить новенький мундир?

— А вот дайте, я подержу, — проговорил вдруг высокий, худой старик.

Тёма с удовольствием принял предложение.

— Да вы бы, сударь, немного подальше от этих… неловко вам, — шепнул Тёме на ухо старик, когда Тёма собрался раздеваться.

«Это верно!» — подумал Тёма и, обратившись к ватаге, сказал:

— Нам в гимназии нельзя… нам запрещено вместе… Вы здесь купайтесь, а я пойду дальше…

Ватага переглянулась, а Тёма со стариком ушли.

— Ну, здесь уже можно, — проговорил старик, когда ватага скрылась из глаз благодаря выступающему камню. Тёма разделся

и полез в воду. Пока он купался, старик сидел на берегу и не мог надивиться искусству Тёмы. А Тёма старался.

— Я могу вон до тех пор доплыть под водой, — кричал он и с размаху бросался в воду. — Я и на спине могу, — кричал опять Тёма. — Я могу смотреть в воде!

И Тёма опускался в воду, открывал глаза и видел жёлтые круги.

— А я могу… — начал снова Тёма, да так и замер: ни старика, ни платья не было больше на берегу. В первую минуту Тёма и не догадался о печальной истине: ему просто стало жутко от одиночества и пустоты, которые вдруг охватили его с исчезновением старика, и он бросился к берегу. Он думал, что старик просто перешёл на другое место. Но старика нигде не было. Тогда он понял, что старик обокрал его. Растерянный, он пришёл к ватаге, уже выкупавшейся и одетой, и сообщил ей своё горе. Розыски были бесполезны. Всё пространство, какое охватывал глаз, было безлюдно. Старик точно провалился сквозь землю.

— Может, это нечистый был, — сделал кто-то предположение, и у всех пробежали мурашки по телу.

— Пойдём, — предложил Яшка, не отличавшийся храбростью, и, быстро вскочив, напялил шапку на мокрые волосы.

— А я как же? — жалобно проговорил Тёма.

Была одна комбинация: остаться Тёме на берегу и ждать, пока дадут знать домой. Но одному было страшно, а из ватаги никто не хотел оставаться с ним. Всех напугал нечистый, всем было страшно, все спешили уйти, и Тёма волей-неволей потянулся за всеми.

— У-ла-ла-а! Голый мальчик!

— Голый мальчик! Голый мальчик! — И толпа городских ребятишек, припрыгивая и улюлюкая, бежала за Тёмой.

## *4*

Голый мальчик не каждый день ходит по улицам, и все спешили посмотреть на голого мальчика. Тёма шёл и горько плакал. Почти каждый прохожий желал знать, в чём дело. Но Тёма так плакал, что говорить сам не мог; за него говорили его друзья. Это было очень трогательно. Все останавливались и слушали, слушал и Тёма. Когда рассказ доходил до мундира, Тёма не выдерживал и начинал снова рыдать.

— Но почему же вы не возьмёте извозчика? — спросил Тёму господин в золотых очках.

«Извозчика?» — думал Тёма. Разве мало убытков папе и маме от пропавшего платья! Нет, он не возьмёт извозчика.

## *5*

— Вы сын генерала?

— Да, — отвечал почти шёпотом Тёма.

— Генерала Карташёва? Николая Семёныча?

Тёма стоял ни жив ни мёртв. Это было на базарной площади, и говорил высокий, здоровый, немного пьяный старик.

— Батюшки мои! Да ведь это мой генерал! Я ведь с ним, когда он эскадроном ещё… Я и жив через него остался! Лизка! Лизка-а!

Подошла толстая краснощёкая торговка.

— Воз давай! — орал старик.

— Какой ещё воз?

— Давай воз! Генеральский сын! Того генерала, что жизнь мою… Помнишь, дура, говорил тебе сколько раз… Офицер на войне… Ну, вот из-под лошади… Э, дура!

«Дура» вспомнила и с любопытством осматривала Тёму.

— Ну, так вот сын его… Ну, давай, что ли, воз! Сам повезу… с рук на руки сдам. Вот что!

Так, причитая, размахивая руками, то наклоняясь к Тёме, то опять выпрямляясь, ораторствовал старик, пока дочь его, сидя на краю телеги, поворачивала лошадь в толпе.

Старик уже сидел на возу и только молча одобрительно кивал головой на сочувственные отзывы толпы. Сидел и Тёма, укутанный в свиту. Ватага не отставала от Тёмы и вся шла тут же возле телеги.

— Вы тут что? — накинулся было на них старик.

— Это мои мальчики, они со мной, — вступился Тёма. — Они у нас живут в доме.

— Вот как? Дружки, значит? Так что ж, айда в телегу и вы!

Ватага не заставила себя упрашивать и, живо вскарабкавшись, разместилась, кто как мог. Через несколько минут ребятишки весёлым шёпотом ещё раз передавали случившееся, но на этот раз передавая всё с комическим оттенком. Как ни был опечален Тёма, но и он не мог удержаться и фыркал, когда Яшка передавал, как они утекли от нечистого. Нередко на чью-нибудь меткую остроту раздавался дружный, сдержанный смех остальной компании.

И, откинувшись к ним, старик долго любовался своим грузом:

— Вишь, как они! Как мухи к мёду… Не брезгуешь?

И, повернувшись назад, старик убеждённо докончил:

— И Господь не побрезгует тобой.

Только через неделю была готова новая форма.

Когда Тёма появился первый раз в классе, занятия были уже в полном разгаре.

# Жуковский Василий Андреевич (1783–1852)

## Котик и козлик

Там котик усатый
По садику бродит,
А козлик рогатый
За котиком ходит;
И лапочкой котик
Помадит свой ротик;
А козлик седою
Трясёт бородою.

## Мальчик с пальчик (*Отрывок* )

Жил маленький мальчик;
Был ростом он с пальчик,
Лицом был красавчик,
Как искры глазёнки,
Как пух волосёнки;
Он жил меж цветочков;
В тени их листочков
В жары отдыхал он,
И ночью там спал он.
С зарей просыпался,
Живой умывался
Росой, наряжался
В листочек атласный
Лилеи прекрасной;
Проворную пчёлку
В свою одноколку [10]
Из лёгкой скорлупки
Потом запрягал он,
И с пчёлкой летал он…

# Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842)
# Урожай (*В сокращении* )

Красным полымем
Заря вспыхнула;
По лицу земли
Туман стелется;
Разгорелся день
Огнём солнечным,
Подобрал туман
Выше темя гор;
Нагустил его
В тучу чёрную;
Туча чёрная
Понахмурилась,
Понахмурилась,
Что задумалась,
Словно вспомнила
Свою родину…
Понесут её
Ветры буйные
Во все стороны
Света белого.
Ополчается
Громом-бурею,
Огнём-молнией,
Дугой-радугой;
Ополчилася
И расширилась,
И ударила,
И пролилася
Слезой крупною —
Проливным дождём
На земную грудь,
На широкую.
И с горы небес
Глядит солнышко,
Напилась воды
Земля досыта;
На поля, сады,
На зелёные
Люди сельские

Не насмотрятся.
Люди сельские
Божей милости
Ждали с трепетом
И молитвою;
Заодно с весной
Пробуждаются
Их заветные
Думы мирные.
Дума первая:
Хлеб из закрома
Насыпать мешки,
Убирать воза;
А вторая их
Была думушка:
Из села гужом
В пору выехать…
Чем свет по полю
Все разъехались —
И пошли гулять
Друг за дружкою,
Горстью полною
Хлеб раскидывать;
И давай пахать
Землю плугами,
Да кривой сохой
Перепахивать,
Бороны зубьём
Порасчесывать.
Посмотрю пойду,
Полюбуюся,
Что послал Господь
За труды людям:
Выше пояса
Рожь зернистая
Дремит колосом
Почти до земи,
Ветерок по ней
Плывёт, лоснится,
Золотой волной
Разбегается.
Люди семьями
Принялися жать,
Косить под корень

Рожь высокую.
В копны частые
Снопы сложены;
От возов всю ночь
Скрыпит музыка.
На гумнах везде,
Как князья, скирды
Широко сидят,
Подняв головы.
Видит солнышко —
Жатва кончена:
Холодней оно
Пошло к осени…

# Крылов Иван Андреевич (1769–1844)

## Волк и журавль

Что волки жадны, всякий знает:
Волк, евши, никогда
Костей не разбирает.
За то на одного из них пришла беда:
Он костью чуть не подавился.
Не может Волк ни охнуть, ни вздохнуть;
Пришло хоть ноги протянуть!
По счастью, близко тут Журавль случился.
Вот кой-как знаками стал Волк его манить
И просит горю пособить.
Журавль свой нос по шею
Засунул к Волку в пасть и с трудностью большею
Кость вытащил и стал за труд просить.
«Ты шутишь! — зверь вскричал коварный: —
Тебе за труд? Ах ты, неблагодарный!
А это ничего, что свой ты долгий нос
И с глупой головой из горла цел унёс!
Поди ж, приятель, убирайся,
Да берегись: вперёд ты мне не попадайся».

## Кукушка и петух

«Как, милый Петушок, поёшь ты громко,
важно!» —
«А ты, Кукушечка, мой свет,
Как тянешь плавно и протяжно:
Во всём лесу у нас такой певицы нет!» —
«Тебя, мой куманёк, век слушать я готова». —
«А ты, красавица, божусь,
Лишь только замолчишь, то жду я, не дождусь,
Чтоб начала ты снова.
Отколь такой берётся голосок?
И чист, и нежен, и высок!..
Да вы уж родом так: собою невелички,
А песни, что твой соловей!» —
«Спасибо, кум; зато, по совести моей,
Поёшь ты лучше райской птички,

На всех ссылаюсь в этом я».
Тут Воробей, случась, промолвил им: «Друзья!
Хоть вы охрипните, хваля друг дружку, —
Всё ваша музыка плоха!..»
За что же, не боясь греха,
Кукушка хвалит Петуха?
За то, что хвалит он Кукушку.

# Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841)
# «На севере диком…»

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.
И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
Прекрасная пальма растёт.

# Майков Аполлон Николаевич (1821–1897)

## «Ласточка примчалась…»

Ласточка примчалась
Из-за бела моря,
Села и запела:
Как февраль ни злися,
Как ты, март, ни хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик —
Всё весною пахнет!

## Осень

Кроет уж лист золотой
Влажную землю в лесу…
Смело топчу я ногой
Вешнюю леса красу.
С холоду щёки горят:
Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
Листья ногой загребать!
Нет мне здесь прежних утех!
Лес с себя тайну совлёк:
Сорван последний орех,
Свянул последний цветок;
Мох не приподнят, не взрыт
Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
Пурпур брусничных кистей;
Долго на листьях лежит
Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
Ясность прозрачных небес.

# Мамин-Сибиряк (Мамин) Дмитрий Наркисович (1852–1912)

## Приёмыш

### *1*

В дождливый день я подходил к Светлому озеру…

Когда я подходил уже совсем к избушке, из травы кубарем вылетела на меня пёстрая собачонка и залилась отчаянным лаем.

— Соболько, перестань… Не узнал?

Соболько остановился в раздумье, но, видимо, ещё не верил в старое знакомство. Он осторожно подошёл, обнюхал мои охотничьи сапоги и только после этой церемонии виновато завилял хвостом. Дескать, виноват, ошибся, — а всё-таки я должен стеречь избушку.

Избушка оказалась пустой. Хозяина не было, то есть он, вероятно, отправился на озеро осматривать какую-нибудь рыболовную снасть…

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся разводить огонь. Соболько вертелся около меня, предчувствуя какую-нибудь поживу…

В ожидании старика я прикрепил на длинной палке медный походный чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже начинала кипеть, а старика всё не было…

Умная собака только виляла пушистым хвостом, облизывалась и нетерпеливо взвизгивала.

Когда этот «лучший друг человека» радостно взвизгнул, я понял, что он завидел хозяина. Действительно, в протоке чёрной точкой показалась рыбачья лодка, огибавшая остров. Это и был Тарас… Он плыл, стоя на ногах, и ловко работал одним веслом. Когда он подплыл ближе, я заметил, к удивлению, плывшего перед лодкой лебедя.

— Ступай домой, гуляка! — ворчал старик, подгоняя красиво плывшую птицу. — Ступай, ступай… Вот я дам — уплывать Бог знает куда… Ступай домой, гуляка!

Лебедь красиво подплыл к сайме[11], вышел на берег, встряхнулся и, тяжело переваливаясь на своих кривых чёрных ногах, направился к избушке.

### *2*

— Здравствуй, Тарас!.. Откуда Бог несёт?

— А вот за Приёмышем плавал, за лебедем… Всё тут вертелся, в протоке, а потом вдруг и пропал… Ну, я сейчас за ним. Выехал в озеро — нет; по заводям проплыл — нет; а он за островом плавает.

— Откуда достал-то его, лебедя?

— Тут охотники наезжали; ну лебедя с лебёдушкой и пристрелили, а вот этот остался. Забился в камыши и сидит. Летать-то не умеет, вот и спрятался… Я, конечно, ставил сети подле камышей, ну и поймал его. Пропадёт один-то, ястреба заедят, потому как смыслу в нём ещё настоящего нет. Сиротой остался. Вот я его привёз и держу. И он тоже привык… Теперь вот скоро месяц будет, как живём вместе. Утром на заре поднимается, поплавает в протоке, покормится, а потом и домой. Знает, когда я встаю, и ждёт, чтобы покормили. Умная птица, одним словом, и свой порядок знает.

Старик говорил необыкновенно любовно, как о близком человеке. Лебедь приковылял к самой избушке и, очевидно, выжидал какой-нибудь подачки.

— Улетит он у тебя, дедушка… — заметил я.

— Зачем ему лететь? И здесь хорошо: сыт, кругом вода…

— А зимой?

— Перезимует вместе со мной в избушке. Места хватит, а нам с Собольком веселее. Как-то один охотник забрёл ко мне на сайму, увидел лебедя и говорит вот так же: «Улетит, ежели крылья не подрежешь». А как же можно увечить Божью птицу? Пусть живёт… Не возьму я в толк, зачем господа лебедей застрелили. Ведь и есть не станут, а так, для озорства…

Лебедь точно понимал слова старика, посматривал на него своими умными глазами.

— А как он с Собольком? — спросил я.

— Сперва-то боялся, а потом привык. Теперь лебедь-то в другой раз у Соболька и кусок отнимает. Пёс заворчит на него, а лебедь его — крылом. Смешно на них со стороны смотреть. А то гулять вместе отправятся: лебедь по воде, а Соболько — по берегу. Пробовал пёс плавать за ним, ну да ремесло-то не то: чуть не потонул. А как лебедь уплывёт, Соболько ищет его. Сядет на бережку и воет… Дескать, скучно мне, псу, без тебя, друг единственный. Так вот и живём втроём.

## *3*

Тарас жил на Светлом уже сорок лет. Когда-то у него были и

своя семья, и дом, а теперь он жил бобылём. Дети перемёрли, жена тоже умерла, и Тарас безвыходно оставался на Светлом по целым годам.

— Не скучно тебе, дедушка? — спросил я, когда мы возвращались с рыбной ловли. — Жутко одному-то в лесу…

— Одному? Тоже и скажет… Я тут князь князем живу. Всё у меня есть… И птица всякая, и рыба, и трава. Конечно, говорить они не умеют, да я-то понимаю всё. Сердце радуется в другой раз посмотреть на Божью тварь… У всякой свой порядок и свой ум. Ты думаешь, зря рыбка плавает в воде или птица по лесу летает? Нет, у них заботы не меньше нашего… Эвон, погляди, лебедь-то дожидается нас с Соболько́м…

Старик ужасно был доволен своим Приёмышем, и все разговоры в конце концов сводились на него.

— Гордая, настоящая царская птица, — объяснил он. — Помани его кормом, да не дай, другой раз и не пойдёт. Свой характер тоже имеет, даром что птица… С Соболько́м тоже себя очень гордо держит. Чуть что, сейчас крылом, а то и носом долбанёт. Известно, пёс в другой раз созорничать захочет, зубами норовит за хвост поймать, а лебедь его по морде… Это тоже не игрушка, чтобы за хвост хватать.

— Посмотри-ка, как лебедь-то разыгрался с Соболько́м…

Действительно, стоило полюбоваться оригинальной картиной. Лебедь стоял, раскрыв крылья, а Соболько с визгом и лаем нападал на него. Умная птица вытягивала шею и шипела на собаку, как это делают гуси. Старый Тарас от души смеялся над этой сценой, как ребёнок.

## *4*

В следующий раз я попал на Светлое озеро уже поздней осенью, когда выпал первый снег…

Навстречу мне выскочил тот же Соболько. Теперь он узнал меня и ласково завилял хвостом ещё издали. Тарас был дома. Он чинил невод для зимнего лова.

Старик действительно имел утомлённый вид. Он казался теперь таким дряхлым и жалким… За чаем мы разговорились, и старик рассказал своё горе.

— Помнишь… лебедя-то?

— Приёмыша?

— Он самый… Ах, хороша была птица!.. А вот мы опять с Соболько́м остались одни… Да, не стало Приёмыша.

— Убили охотники?

— Нет, сам ушёл… Вот как мне обидно это!.. Уж я ли, кажется, не ухаживал за ним!.. Из рук кормил… Он ко мне и на голос шёл. Плавает он по озеру, — я его кликну, он и подплывает. Учёная птица. И ведь совсем привыкла… да! Уж в заморозки грех вышел. На перелёте стадо лебедей спустилось на Светлое озеро. Ну, отдыхают, кормятся, плавают, а я любуюсь. Пусть Божья птица с силой соберётся: не близкое место лететь… Мой-то Приёмыш сначала сторонился от других лебедей: подплывёт к ним и назад. Те гогочут по-своему, зовут его, он — домой… Дескать, у меня свой дом есть. Так дня три это у них было. Всё, значит, переговариваются по-своему, по-птичьему. Ну а потом, вижу, мой Приёмыш затосковал… Вот всё равно как человек тоскует. Выйдет это на берег, встанет на одну ногу и начнёт кричать. Да ведь так жалобно кричит…

Старик замолчал и тяжело вздохнул.

— Ну и что же, дедушка?

— Ах, и не спрашивай… Запер я его в избушку на целый день, так он и тут донял. Станет на одну ногу у самой двери и стоит, пока не сгонишь его с места. Только вот не скажет человеческим языком: «Пусти, дедушка, к товарищам. Они-то в тёплую сторону летят, а что я с вами тут буду зимой делать?!» Ах ты, думаю, задача! Пустить — улетит за стадом и пропадёт…

— Почему пропадёт?

— А как же. Те-то на вольной воле выросли. Их, молодые которые, отец с матерью летать выучили. Ведь ты думаешь, как у них? Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут учить летать. Исподволь учат: всё дальше да дальше. Своими глазами я видел, как молодых обучают к перелёту. Сначала особняком учат, потом небольшими стаями, а потом уже сгрудятся в одно большое стадо. Похоже на то, как солдат муштруют… Ну а мой-то Приёмыш один вырос и, почитай, никуда не летал. Поплавает по озеру — только и всего ремесла. Выбьется из сил, отстанет от стада и пропадёт… Непривычен к дальнему лёту.

Старик опять замолчал.

— А пришлось выпустить, — с горечью заговорил он. — Всё равно, думаю, ежели удержу его на зиму, затоскует и схиреет. Уж птица такая особенная. Ну и выпустил. Пристал мой Приёмыш к стаду, поплавал с ними один день, а к вечеру опять домой… В последний-то раз отплыл от берега, остановился и как, братец ты мой, крикнет по-своему. Дескать: «Спасибо за хлеб, за соль!..» Только я его и видел. Остались мы опять с Собольком одни. Первое-то время сильно мы оба тосковали. Спрошу его: «Соболько, а где наш Приёмыш?» А Соболько сейчас выть…

Значит, жалеет. И сейчас на берег, и сейчас искать друга милого… Мне по ночам всё грезилось, что Приёмыш-то тут вот полощется у берега и крылышками хлопает. Выйду — никого нет… Вот какое дело вышло…

## Серая шейка

### *I*

Первый осенний холод, от которого пожелтела трава, привёл всех птиц в большую тревогу. Все начали готовиться в далёкий путь, и все имели такой серьёзный, озабоченный вид. Да, нелегко перелететь пространство в несколько тысяч вёрст… Сколько бедных птиц дорогой выбьются из сил, сколько погибнут от разных случайностей, — вообще было о чём серьёзно подумать.

Серьёзная большая птица, как лебеди, гуси и утки, собиралась в дорогу с важным видом, сознавая всю трудность предстоящего подвига; а более всех шумели, суетились и хлопотали маленькие птички, как кулички-песочники, кулички-плавунчики, чёрнозобики, черныши, зуйки. Они давно уж собирались стайками и переносились с одного берега на другой по отмелям и болотам с такой быстротой, точно кто бросил горсть гороху. У маленьких птичек была такая большая работа…

Лес стоял тёмный и молчаливый, потому что главные певцы улетели, не дожидаясь холода.

— И куда эта мелочь торопится! — ворчал старый Селезень, не любивший себя беспокоить. — В своё время все улетим… Не понимаю, о чём тут беспокоиться.

— Ты всегда был лентяем, поэтому тебе и неприятно смотреть на чужие хлопоты, — объяснила его жена, старая Утка.

— Я был лентяем? Ты просто несправедлива ко мне, и больше ничего. Может быть, я побольше всех забочусь, а только не показываю вида. Толку от этого немного, если буду бегать с утра до ночи по берегу, кричать, мешать другим, надоедать всем.

Утка вообще была не совсем довольна своим супругом, а теперь окончательно рассердилась.

— Ты посмотри на других-то, лентяй! Вон наши соседи, гуси и лебеди, — любо на них посмотреть. Живут душа в душу… Небось лебедь или гусь не бросит своего гнезда и всегда впереди выводка. Да, да… А тебе до детей и дела нет. Только и думаешь о себе, чтобы набить зоб. Лентяй, одним словом… Смотреть на тебя даже противно!

— Не ворчи, старуха!.. Ведь я ничего не говорю, что у тебя

такой неприятный характер. У всякого есть свои недостатки… Я не виноват, что гусь — глупая птица и поэтому нянчится со своим выводком. Вообще моё правило — не вмешиваться в чужие дела. Зачем? Пусть всякий живёт по-своему.

Селезень любил серьёзные рассуждения, причём оказывалось как-то так, что именно он, Селезень, всегда прав, всегда умён и всегда лучше всех. Утка давно к этому привыкла, а сейчас волновалась по совершенно особенному случаю.

— Какой ты отец? — накинулась она на мужа. — Отцы заботятся о детях, а тебе — хоть трава не расти!..

— Ты это о Серой Шейке говоришь? Что же я могу поделать, если она не может летать? Я не виноват…

Серой Шейкой они называли свою калеку-дочь, у которой было переломлено крыло ещё весной, когда подкралась к выводку Лиса и схватила утёнка. Старая Утка смело бросилась на врага и отбила утёнка; но одно крылышко оказалось сломанным.

— Даже и подумать страшно, как мы покинем здесь Серую Шейку одну, — повторяла Утка со слезами. — Все улетят, а она останется одна-одинёшенька. Да, совсем одна… Мы улетим на юг, в тепло, а она, бедняжка, здесь будет мёрзнуть… Ведь она наша дочь, и как я её люблю, мою Серую Шейку! Знаешь, старик, останусь-ка я с ней зимовать здесь вместе…

— А другие дети?

— Те здоровы, обойдутся и без меня.

Селезень всегда старался замять разговор, когда речь заходила о Серой Шейке. Конечно, он тоже любил её, но зачем же напрасно тревожить себя? Ну, останется, ну, замёрзнет, — жаль, конечно, а всё-таки ничего не поделаешь. Наконец, нужно подумать и о других детях. Жена вечно волнуется, а нужно смотреть на вещи серьёзно. Селезень про себя жалел жену, но не понимал в полной мере её материнского горя. Уж лучше было бы, если бы тогда Лиса совсем съела Серую Шейку, — ведь всё равно она должна погибнуть зимою.

## *II*

Старая Утка, ввиду близившейся разлуки, относилась к дочери-калеке с удвоенной нежностью. Бедняжка ещё не знала, что такое разлука и одиночество, и смотрела на сборы других в дорогу с любопытством новичка. Правда, ей иногда делалось завидно, что её братья и сёстры так весело собираются к отлёту, что они будут опять где-то там, далеко-далеко, где не бывает зимы.

— Ведь вы весной вернётесь? — спрашивала Серая Шейка у матери.

— Да, да, вернёмся, моя дорогая… И опять будем жить все вместе.

Для утешения начинавшей задумываться Серой Шейки мать рассказала ей несколько таких же случаев, когда утки оставались на зиму. Она была лично знакома с двумя такими парами.

— Как-нибудь, милая, пробьёшься, — успокаивала старая Утка. — Сначала поскучаешь, а потом привыкнешь. Если бы можно было тебя перенести на тёплый ключ, что и зимой не замерзает, — совсем было бы хорошо. Это далеко отсюда… Впрочем, что же и говорить-то попусту, всё равно нам не перенести тебя туда!

— Я буду всё время думать о вас… — повторяла бедная Серая Шейка. — Всё буду думать: где вы, что вы делаете, весело ли вам? Всё равно и будет, точно и я с вами вместе.

Старой Утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего отчаяния. Она старалась казаться весёлой и плакала потихоньку ото всех. Ах, как ей было жаль милой, бедненькой Серой Шейки… Других детей она теперь почти не замечала и не обращала на них внимания, и ей казалось, что она даже совсем их не любит.

А как быстро летело время… Был уже целый ряд холодных утренников, а от инея пожелтели берёзки и покраснели осины. Вода в реке потемнела, и сама река казалась больше, потому что берега оголели, — береговая поросль быстро теряла листву. Холодный осенний ветер обрывал засыхавшие листья и уносил их. Небо часто покрывалось тяжёлыми осенними облаками, ронявшими мелкий осенний дождь. Вообще хорошего было мало, и который день уже неслись мимо стаи перелётной птицы… Первыми тронулись болотные птицы, потому что болота уже начинали замерзать. Дольше всех оставались водоплавающие. Серую Шейку больше всего огорчал перелёт журавлей, потому что они так жалобно курлыкали, точно звали её с собой. У неё ещё в первый раз сжалось сердце от какого-то тайного предчувствия, и она долго провожала глазами уносившуюся в небо журавлиную стаю.

«Как им, должно быть, хорошо», — думала Серая Шейка.

Лебеди, гуси и утки тоже начинали готовиться к отлёту. Отдельные гнёзда соединялись в большие стаи. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое утро эта молодёжь с весёлым криком делала большие прогулки, чтобы укрепить крылья для далёкого перелёта. Умные вожаки сначала обучали отдельные партии, а потом всех вместе. Сколько было крика, молодого

веселья и радости… Одна Серая Шейка не могла принимать участия в этих прогулках и любовалась ими только издали. Что делать, приходилось мириться со своей судьбой. Зато как она плавала, как ныряла! Вода для неё составляла всё.

— Нужно отправляться… Пора! — говорили старики вожаки. — Что нам здесь ждать?

А время летело, быстро летело… Наступил и роковой день. Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода ещё была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трёхсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая Утка не спала всю ночь, — это была последняя ночь, которую она проводила вместе с Серой Шейкой.

— Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик, — советовала она. — Там вода не замёрзнет целую зиму…

Серая Шейка держалась в стороне от косяка, как чужая… Да, все были так заняты общим отлётом, что на неё никто не обращал внимания. У старой Утки изболелось всё сердце, глядя на бедную Серую Шейку. Несколько раз она решала про себя, что останется; но как останешься, когда есть другие дети и нужно лететь вместе с косяком?..

— Ну, трогай! — громко скомандовал главный вожак, и стая поднялась разом вверх.

Серая Шейка осталась на реке одна и долго провожала глазами улетавший косяк. Сначала все летели одной живой кучей, а потом вытянулись в правильный треугольник и скрылись.

«Неужели я совсем одна? — думала Серая Шейка, заливаясь слезами. — Лучше бы было, если бы тогда Лиса меня съела…».

## *III*

Река, на которой осталась Серая Шейка, весело катилась в горах, покрытых густым лесом. Место было глухое — и никакого жилья кругом. По утрам вода у берегов начинала замерзать, а днём тонкий, как стекло, лёд таял.

«Неужели вся река замёрзнет?» — думала Серая Шейка с ужасом.

Скучно ей было одной, и она всё думала про своих улетевших братьев и сестёр. Где-то они сейчас? Благополучно ли долетели? Вспоминают ли про неё? Времени было достаточно, чтобы подумать обо всём. Узнала она и одиночество. Река была пуста, и жизнь сохранялась только в лесу, где посвистывали рябчики,

прыгали белки и зайцы. Раз со скуки Серая Шейка забралась в лес и страшно перепугалась, когда из-под куста кубарем вылетел Заяц.

— Ах, как ты меня напугала, глупая! — проговорил Заяц, немного успокоившись. — Душа в пятки ушла… И зачем ты толчёшься здесь? Ведь все утки давно улетели…

— Я не могу летать: Лиса мне крылышко перекусила, когда я ещё была совсем маленькой…

— Уж эта мне Лиса!.. Нет хуже зверя. Она и до меня давно добирается… Ты берегись её, особенно когда река покроется льдом. Как раз сцапает…

Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и Серая Шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством.

— Если бы мне крылья, как птице, так я бы, кажется, никого на свете не боялся!.. У тебя вот хоть и крыльев нет, так зато ты плавать умеешь, а не то возьмёшь и нырнёшь в воду, — говорил он. — А я постоянно дрожу от страха… У меня — кругом враги. Летом ещё можно спрятаться куда-нибудь, а зимой всё видно.

Скоро выпал и первый снег, а река всё ещё не поддавалась холоду. Всё, что замерзало по ночам, вода разбивала. Борьба шла не на живот, а на смерть. Всего опаснее были ясные, звёздные ночи, когда всё затихало и на реке не было волн. Река точно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. Так и случилось. Была тихая-тихая, звёздная ночь. Тихо стоял тёмный лес на берегу, точно стража из великанов. Горы казались выше, как это бывает ночью. Высокий месяц обливал всё своим трепетным искрившимся светом. Бурлившая днём, горная река присмирела, и к ней тихо-тихо подкрался холод, крепко-крепко обнял гордую, непокорную красавицу и точно прикрыл её зеркальным стеклом. Серая Шейка была в отчаянии, потому что не замёрзла только самая середина реки, где образовалась широкая полынья. Свободного места, где можно было плавать, оставалось не больше пятнадцати сажен. Огорчение Серой Шейки дошло до последней степени, когда на берегу показалась Лиса, — это была та самая лиса, которая переломила ей крыло.

— А, старая знакомая, здравствуй! — ласково проговорила Лиса, останавливаясь на берегу. — Давненько не видались… Поздравляю с зимой.

— Уходи, пожалуйста, я совсем не хочу с тобой разговаривать, — ответила Серая Шейка.

— Это за мою-то ласку! Хороша же ты, нечего сказать!.. А впрочем, про меня много лишнего говорят. Сами наделают что-нибудь, а потом на меня и свалят… Пока — до свиданья!

Когда Лиса убралась, приковылял Заяц и сказал:

— Берегись, Серая Шейка: она опять придёт.

И Серая Шейка тоже начала бояться, как боялся Заяц. Бедная даже не могла любоваться творившимися кругом неё чудесами. Наступила уже настоящая зима. Земля была покрыта белоснежным ковром. Не оставалось ни одного тёмного пятнышка. Даже голые берёзы, ольхи, ивы и рябины убрались инеем, точно серебристым пухом. А ели сделались ещё важнее. Они стояли засыпанные снегом, как будто надели дорогую тёплую шубу. Да, чу́дно, хорошо было кругом; а бедная Серая Шейка знала только одно, что эта красота не для неё, и трепетала при одной мысли, что её полынья вот-вот замёрзнет и ей некуда будет деться. Лиса действительно пришла через несколько дней, села на берегу и опять заговорила:

— Соскучилась я по тебе, уточка… Выходи сюда; а не хочешь, так я сама к тебе приду. Я не спесива…

И Лиса принялась ползти осторожно по льду к самой полынье. У Серой Шейки замерло сердце. Но Лиса не могла подобраться к самой воде, потому что там лёд был ещё очень тонок. Она положила голову на передние лапки, облизнулась и проговорила:

— Какая ты глупая, уточка… Вылезай на лёд! А впрочем, до свиданья! Я тороплюсь по своим делам…

Лиса начала приходить каждый день — проведать, не застыла ли полынья. Наступившие морозы делали своё дело. От большой полыньи оставалось всего одно окно в сажень величиной. Лёд был крепкий, и Лиса садилась на самом краю. Бедная Серая Шейка со страху ныряла в воду, а Лиса сидела и зло подсмеивалась над ней:

— Ничего, ныряй, а я тебя всё равно съем… Выходи лучше сама.

Заяц видел с берега, что проделывала Лиса, и возмущался всем своим заячьим сердцем:

— Ах, какая бессовестная эта Лиса… Какая несчастная эта Серая Шейка! Съест её Лиса…

## *IV*

По всей вероятности, Лиса и съела бы Серую Шейку, когда полынья замёрзла бы совсем, но случилось иначе. Заяц всё видел своими собственными косыми глазами.

Дело было утром. Заяц выскочил из своего логовища покормиться и поиграть с другими зайцами. Мороз был здоровый, и зайцы грелись, поколачивая лапку о лапку. Хотя и холодно, а

всё-таки весело.

— Братцы, берегитесь! — крикнул кто-то.

Действительно, опасность была на носу. На опушке леса стоял сгорбленный старичок охотник, который подкрался на лыжах совершенно неслышно и высматривал, которого бы зайца застрелить.

«Эх, тёплая старухе шуба будет», — соображал он, выбирая самого крупного зайца.

Он даже прицелился из ружья, но зайцы его заметили и кинулись в лес, как сумасшедшие.

— Ах, лукавцы! — рассердился старичок. — Вот ужо я вас… Того не понимают, глупые, что нельзя старухе без шубы. Не мёрзнуть же ей… А вы Акинтича не обманете, сколько ни бегайте. Акинтич-то похитрее будет… А старуха Акинтичу вон как наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!» А вы сигать…

Старичок пустился разыскивать зайцев по следам, но зайцы рассыпались по лесу, как горох. Старичок порядком измучился, обругал лукавых зайцев и присел на берегу реки отдохнуть.

— Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! — думал он вслух. — Ну, вот отдохну и пойду искать другую…

Сидит старичок, горюет, а тут, глядь, Лиса по реке ползёт, — так и ползёт, точно кошка.

— Ге, ге, вот так штука! — обрадовался старичок. — К старухиной-то шубе воротник сам ползёт… Видно, пить захотела, а то, может, и рыбки вздумала половить.

Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала Серая Шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо и из-за Лисы не замечали утки.

«Надо так её застрелить, чтобы воротника не испортить, — соображал старик, прицеливаясь в Лису. — А то вот как старуха будет браниться, если воротник-то в дырьях окажется… Тоже своя сноровка везде надобна, а без снасти и клопа не убьёшь».

Старичок долго прицеливался, выбирая место в будущем воротнике.

Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду, — и со всех ног кинулся к полынье; по дороге он два раза упал, а когда добежал до полыньи, то только развёл руками, — воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная Серая Шейка.

— Вот так штука! — ахнул старичок, разводя руками. — В первый раз вижу, как Лиса в утку обратилась. Ну и хитёр зверь.

— Дедушка, Лиса убежала, — объяснила Серая Шейка.

— Убежала? Вот тебе, старуха, и воротник к шубе… Что же я

теперь буду делать, а? Ну и грех вышел… А ты, глупая, зачем тут плаваешь?

— А я, дедушка, не могла улететь вместе с другими. У меня одно крылышко попорчено…

— Ах, глупая, глупая… Да ведь ты замёрзнешь тут или Лиса тебя съест! Да…

Старичок подумал-подумал, покачал головой и решил:

— А мы вот что с тобой сделаем: я тебя внучкам унесу. Вот-то обрадуются… А весной ты старухе яичек нанесёшь да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая…

Старичок добыл Серую Шейку из полыньи и положил за пазуху. «А старухе я ничего не скажу, — соображал он, направляясь домой. — Пусть её шуба с воротником вместе ещё погуляет в лесу. Главное: внучки вот как обрадуются…»

Зайцы всё это видели и весело смеялись. Ничего, старуха и без шубы на печке не замёрзнет.

# Некрасов Николай Алексеевич (1821–1878)

## Зелёный шум (*В сокращении* )

Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!
Играючи, расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнёт кусты ольховые,
Поднимет пыль цветочную,
Как облако: всё зелено,
И воздух и вода!
Идёт-гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!
Как молоком облитые,
Стоят сады вишнёвые,
Тихохонько шумят;
Пригреты тёплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса.
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая берёзонька
С зелёною косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клён…
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…
Идёт-гудёт Зелёный Шум.
Зелёный Шум, весенний шум!

## Несжатая полоса

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она.
Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,
Скучно склоняться до самой земли,

Тучные зёрна купая в пыли!
Нас, что ни ночь, разоряют станицы[12]
Всякой пролётной прожорливой птицы,
Заяц нас топчет, и буря нас бьёт…
Где же наш пахарь? чего ещё ждёт?
Или мы хуже других уродились?
Или не дружно цвели-колосились?
Нет! мы не хуже других — и давно
В нас налилось и созрело зерно.
Не для того же пахал он и сеял,
Чтобы нас ветер осенний развеял?..»
Ветер несёт им печальный ответ:
— Вашему пахарю моченьки нет.
Знал, для чего и пахал он и сеял,
Да не по силам работу затеял.
Плохо бедняге — не ест и не пьёт,
Червь ему сердце больное сосёт.
Руки, что вывели борозды эти,
Высохли в щепку, повисли как плети,
Очи потускли, и голос пропал,
Что заунывную песню певал,
Как, на соху налегая рукою,
Пахарь задумчиво шёл полосою.

## Школьник

— Ну, пошёл же, ради Бога!
Небо, ельник и песок —
Невесёлая дорога…
— Эй! садись ко мне, дружок!
Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь.
Вижу я в котомке книжку.
Так, учиться ты идёшь…
Знаю: батька на сынишку
Издержал последний грош.
Знаю: старая дьячиха
Отдала четвертачок,
Что проезжая купчиха
Подарила на чаёк.
Или, может, ты дворовый

Из отпущенных?.. Ну, что ж!
Случай тоже уж не новый —
Не робей, не пропадёшь!
Скоро сам узнаешь в школе,
Как архангельский мужик
По своей и Божьей воле
Стал разумен и велик.
Не без добрых душ на свете —
Кто-нибудь свезёт в Москву,
Будешь в университете —
Сон свершится наяву!
Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь…
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!
Не бездарна та природа,
Не погиб ещё тот край,
Что выводит из народа
Столько славных то и знай, —
Сколько добрых, благородных,
Сильных любящей душой,
Посреди тупых, холодных
И напыщенных собой!

# Никитин Иван Саввич (1824–1861)

## «Тихо ночь ложится…»

Тихо ночь ложится
На вершины гор,
И луна глядится
В зеркала озёр;
Над глухою степью
В неизвестный путь
Бесконечной цепью
Облака плывут;
Над рекой широкой,
Сумраком покрыт,
В тишине глубокой
Лес густой стоит;
Светлые заливы
В камышах блестят,
Неподвижно нивы
На полях стоят;
Небо голубое
Весело глядит,
И село большое
Беззаботно спит.

## Утро на берегу озера (*Отрывок*)

Ясно утро. Тихо веет
Тёплый ветерок;
Луг, как бархат, зеленеет;
В зареве восток.
Окаймлённое кустами
Молодых ракит,
Разноцветными огнями
Озеро блестит.
Тишине и солнцу радо,
По равнинам вод
Лебедей ручное стадо
Медленно плывет.
Вот один взмахнул лениво
Крыльями — и вдруг

Влага брызнула игриво
Жемчугом вокруг…

# Плещеев Алексей Николаевич (1825–1893)

## Бабушка и внучек

Под окном чулок старушка
Вяжет в комнатке уютной
И в очки свои большие
Смотрит в угол поминутно.
А в углу кудрявый мальчик
Молча к стенке прислонился;
На лице его забота,
Взгляд на что-то устремился.
— Что сидишь всё дома, внучек?
Шёл бы в сад, копал бы грядки
Или крикнул бы сестрёнку,
Поиграл бы с ней в лошадки.
Кабы силы да здоровье,
И сама бы с вами, детки,
Побрела я на лужайку;
Дни такие стали редки.
Уж трава желтеет в поле,
Листья падают сухие;
Скоро птички-щебетуньи
Улетят в края чужие!
Присмирел ты что-то, Ваня,
Всё сидишь, сложивши ручки.
Посмотри, как светит солнце:
Ни одной на небе тучки!
Что за тишь! Не клонит ветер
Ни былинки, ни цветочка.
Не дождёшься ты такого
Благодатного денёчка! —

Подошёл к старушке внучек
И головкою курчавой
К ней припал; глаза большие
На неё глядят лукаво…
— Знать, гостинцу захотелось?
Винных ягод, винограда?
Ну, поди возьми в комоде.
— Нет, гостинца мне не надо!
— Уж чего-нибудь да хочешь…

Или, может, напроказил?
Может, сам, когда спала я,
Ты в комод без спросу лазил?
— Нет, бабуся, не шалил я,
А вчера, меня целуя,
Ты сказала: «Будешь умник —
Всё тогда тебе куплю я…»
— Ишь ведь память-то какая!
Что ж купить тебе? Лошадку?
Оловянную посуду
Или грабли да лопатку?
— Нет! Уж ты мне покупала
И лошадку и посуду.
Сумку мне купи, бабуся:
В школу с ней ходить я буду.
— Ай да Ваня! Хочет в школу,
За букварь да за указку!
Где тебе! Садись-ка лучше,
Расскажу тебе я сказку…
— Уж и так мне сказок много
Ты, бабуся, говорила;
Если знаешь, расскажи мне
Лучше то, что вправду было.
Шёл вчера я мимо школы.
Сколько там детей, родная!
Как рассказывал учитель,
Долго слушал у окна я.
Слушал я — какие земли
Есть за дальними морями…
Города, леса какие
С злыми, страшными зверями.
Он рассказывал: где жарко,
Где всегда стоят морозы;
Отчего дожди, туманы,
Отчего бывают грозы.
Рисовали тоже дети;
Много я глядел тетрадок.
Кто глаза, кто нос выводит,
А кто домик да лошадок.
А как кончилось ученье,
Стали хором петь. В окошко
И меня втащил учитель,
Говорит: — Пой с нами, крошка!
Да проси, чтоб присылали

В школу к нам тебя родные.
Все вы скажете спасибо
Ей, как будете большие!

## Весна

Песни жаворонков снова
Зазвенели в вышине.
«Гостья милая, здорово!» —
Говорят они весне.
Уж теплее солнце греет,
Стали краше небеса…
Скоро всё зазеленеет —
Степи, рощи и леса.
Позабудет бедный горе,
Расцветёт душой старик…
В каждом сердце, в каждом взоре
Радость вспыхнет хоть на миг.
Выйдет пахарь на дорогу,
Взглянет весело вокруг;
Помолясь усердно Богу,
Бодро примется за плуг.
С кротким сердцем, с верой сильной
Весь отдастся он трудам —
И пошлёт Господь обильный
Урожай его полям!

## На берегу

Домик над рекою,
В окнах огонёк,
Светлой полосою
На воду он лёг.
В доме не дождутся
С ловли рыбака:
Обещал вернуться
Через два денька.
Но прошёл и третий,
А его всё нет.
Ждут напрасно дети,
Ждёт и старый дед,
Всех нетерпеливей

Ждёт его жена,
Ночи молчаливей
И как холст бледна.
Вот за ужин сели.
Ей не до еды.
«Как бы в самом деле
Не было беды».
Вдоль реки несётся
Лодочка, на ней
Песня раздаётся
Всё слышней, слышней.
Звуки той знакомой
Песни услыхав,
Дети вон из дому
Бросились стремглав.
Весело вскочила
Из-за прялки мать,
И у деда сила
Вдруг нашлась бежать.
Песню заглушает
Звонкий крик ребят;
Тщетно унимает
Старый дед внучат.
Вот и воротился,
Весел и здоров!
В россказни пустился
Тотчас про улов…
Смотрит дед на щуку:
«Больно велика!»
Мать сынишке в руку
Суёт окунька,
Девочка присела
Около сетей
И взяла несмело
Парочку ершей.
Прыгают, смеются
Детки, если вдруг
Рыбки встрепенутся,
Выскользнут из рук.
Долго раздавался
Смех их над рекой;
Ими любовался
Месяц золотой.
Ласково мерцали

Звёзды с вышины,
Детям обещали
Радостные сны.

## Старик

У лесной опушки домик небольшой
Посещал я часто прошлою весной.
В том домишке бедном жил седой лесник.
Памятен мне долго будешь ты, старик.
Как приходу гостя радовался ты!
Вижу как теперь я добрые черты…
Вижу я улыбку на лице твоём —
И морщинкам мелким нет числа на нём!
Вижу армячишко рваный на плечах,
Шапку на затылке, трубочку в зубах;
Помню смех твой тихий, взгляд потухших
глаз,
О житье минувшем сбивчивый рассказ…
По лесу бродили часто мы вдвоём;
Старику там каждый кустик был знаком.
Знал он, где какая птичка гнёзда вьёт.
Просеки, тропинки знал наперечёт.
А какой охотник был до соловьёв!
Всю-то ночь, казалось, слушать он готов,
Как в зелёной чаще песни их звучат…
И ещё любил он маленьких ребят.
На своём крылечке сидя, каждый день
Ждёт, бывало, деток он из деревень.
Много их сбегалось к деду вечерком,
Щебетали, словно птички перед сном:
«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток».
«Дедушка, найди мне беленький грибок».
«Ты хотел мне нынче сказку рассказать».
«Посулил ты белку, дедушка, поймать». —
«Ладно, ладно, детки, дайте только срок,
Будет вам и белка, будет и свисток!»
И, смеясь, рукою дряхлой гладил он
Детские головки, белые, как лён…
Ждал поры весенней с нетерпеньем я:
Думал, вот приеду снова в те края
И отправлюсь к другу старому скорей,
Он навстречу выйдет с трубочкой своей

И начнёт о сельских новостях болтать.
По лесу бродить с ним будем мы опять,
Слушая, как в чаще свищут соловьи…
Но — увы! — желанья не сбылись мои.
Как с деревьев падать начал лист сухой,
Смерть подкралась к деду тихою стопой.
Одинок угас он в домике своём,
И горюют детки больше всех о нём.
«Кто поймает белку, сделает свисток?»
Долго будет мил им добрый старичок.
И где спит теперь он непробудным сном,
Часто голоса их слышны вечерком…

# Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837)

## «Гонимы вешними лучами…» (*Отрывок из романа «Евгений Онегин»*)

Гонимы вешними лучами,
С окрестных гор уже снега
Сбежали мутными ручьями
На потоплённые луга.
Улыбкой ясною природа
Сквозь сон встречает утро года;
Синея, блещут небеса.
Ещё прозрачные леса
Как будто пухом зеленеют.
Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.
Долины сохнут и пестреют;
Стада шумят, и соловей
Уж пел в безмолвии ночей.

## «Если жизнь тебя обманет…»

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Всё мгновенно, всё пройдет;
Что пройдёт, то будет мило.

## «Ещё дуют холодные ветры…»

Ещё дуют холодные ветры
И наносят утренни морозы,
Только что на проталинах весенних
Показались ранние цветочки,
Как из чудного царства воскового,
Из душистой келейки медовой
Вылетала первая пчёлка,

Полетела по ранним цветочкам
О красной весне поразведать,
Скоро ль будет гостья дорогая,
Скоро ли луга позеленеют,
Скоро ль у кудрявой у берёзы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветёт черёмуха душиста.

## Осень (*Отрывок*)

…Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их се́нях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдалённые седой зимы угрозы.

## Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях

Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждёт-пождёт с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьётся вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белёшенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог дает царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.
На него она взглянула,

Тяжелёшенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.
Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел, как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;
Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищёлкивать перстами,
И вертеться подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.
Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,

А приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок теремов.
На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Как царица отпрыгнёт,
Да как ручку замахнёт,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать брюхатая сидела
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди всё царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее».
Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав её, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.
Черт ли сладит с бабой гневной?

Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла
И в такую даль свела,
Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась: «Жизнь моя!
В чем, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!
А как буду я царица,
Я пожалую тебя».
Та, в душе её любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, Бог с тобой».
А сама пришла домой.
«Что? — сказала ей царица, —
Где красавица-девица?»
— «Там, в лесу, стоит одна, —
Отвечает ей она, —
Крепко связаны ей локти;
Попадется зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть».
И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно Богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей-душой,
За невестой молодой.
Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем всё шла да шла
И на терем набрела.
Ей навстречу пес, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась.

И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.
Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Всё порядком убрала,
Засветила Богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.
Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил:
«Что за диво!
Всё так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».
И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали;
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,

Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зелёного вина
Отрекалася она;
Пирожок лишь разломила
Да кусочек прикусила,
И с дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.
День за днём идет, мелькая,
А царевна молодая
Всё в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса,
А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберёт и приготовит,
Им она не прекословит,
Не перечат ей они.
Так идут за днями дни.
Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: «Девица,
Знаешь: всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы рады,
Да нельзя, так Бога ради
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,

Прочим ласковой сестрою.
Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?»
«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные, —
Им царевна говорит, —
Коли лгу, пусть Бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».
Братья молча постояли
Да в затылке почесали.
«Спрос не грех. Прости ты нас, —
Старший молвил, поклонясь, —
Коли так, не заикнуся
Уж о том». — «Я не сержуся, —
Тихо молвила она, —
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.
Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить её,
А на зеркальце своё
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним, и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркальце! Скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;

Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что всё ж тебя милей».
И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всём:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.
Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пес залаял, и девица
Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко, —
Ей кричит она в окошко, —
Пригрожу сама я псу
И кой-что тебе снесу».
Отвечает ей черница:
«Ох ты, дитятко девица!
Пёс проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь ко мне». — Царевна хочет
Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,
Пёс ей под ноги — и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдет старуха к ней,
Он, лесного зверя злей,
На старуху. «Что за чудо?
Видно, выспался он худо, —
Ей царевна говорит, —
На ж, лови!» — и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала;
«Благодарствую, — сказала. —
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!»

И к царевне наливное,
Молодое, золотое
Прямо яблочко летит…
Пёс как прыгнет, завизжит…
Но царевна в обе руки
Хвать — поймала.
«Ради скуки,
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед», —
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала…
И с царевной на крыльцо
Пёс бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце пёсье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! — Она его ласкать,
Треплет нежною рукою;
«Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!» — и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Всё на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто мёдом налилось!
Видны семечки насквозь…
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочек проглотила…
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,
Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала…
Братья в ту пору домой

Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, грозно воя,
Пёс бежит и ко двору
Путь им кажет. «Не к добру!
Братья молвили, — печали
Не минуем». Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пёс на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
Перед мертвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить её хотели
И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили — и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб её к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили,
И решеткой оградили;
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе.
Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,

Только гробу одному».
В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты, царица, спору нет,
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее».
За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрён;
Кто в глаза ему смеётся,
Кто скорее отвернётся;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец:
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с тёплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». — «Свет ты мой, —
Красно солнце отвечало, —
Я царевны не видало.
Знать, её в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь её да встретил
Или след её заметил».
Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,

Звезды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей». — «Братец мой, —
Отвечает месяц ясный, —
Не видал я девы красной.
На сторóже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала». — «Как обидно!» —
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».
Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе.
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених её». — «Постой, —
Отвечает ветер буйный, —
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;
В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места,
В том гробу твоя невеста».
Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту
На прекрасную невесту
Посмотреть ещё хоть раз.

Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг нее страна пустая;
Под горою тёмный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумлёнными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба…
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он её берет
И на свет из тьмы несет,
И, беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!
Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: «Я ль всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна всё ж милее,
Всё ж румяней и белее».
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут её тоска взяла,
И царица умерла.
Лишь её похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей

Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

## Сказка о попе и о работнике его Балде

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай варёную полбу».
Призадумался поп,
Стал себе почёсывать лоб.
Щелк щелку ведь розь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи своё усердие и проворье».
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;
До светла всё у него пляшет,
Лошадь запряжёт, полосу вспашет,
Печь затопит, всё заготовит, закупит,
Яичко испечет да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попёнок зовет его тятей;

Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьёт, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признаётся:
«Так и так: что делать остается?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;
А требуй, чтоб он её исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошёл, сел у берега моря;
Там он стал верёвку крутить
Да конец её в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
— «Да вот верёвкой хочу море морщить
Да вас, проклятое племя, корчить».
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»
— «Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха».
— «Балдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».

Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесёнок,
Замяукал он, как голодный котёнок:
«Здравствуй, Балда-мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть — возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору —
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшего брата».
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесёнка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку;
Ты, бесёнок, ещё молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесёнок и зайка:
Бесёнок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесёнок задыхаясь,
Весь мокрёшенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь — а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесёнок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел,
На братца поглядывает боком.

«Погоди, — говорит, — схожу за оброком».
Пошел к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что всё море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесёнок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любимую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» — «Да жду вон этой тучки:
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку».
Испугался бесёнок да к деду,
Рассказывать про Балдову победу.
А Балда над морем опять шумит
Да чертям верёвкой грозит.
Вылез опять бесёнок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь…»
— «Нет, — говорит Балда, —
Теперь моя череда,
Условия сам назначу,
Задам тебе, вражёнок, задачу.
Посмотрим, какова у тебе сила.
Видишь: там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты
Да неси её полверсты;
Снесёшь кобылу, оброк уж твой;
Не снесёшь кобылы, ан будет он мой».
Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,
Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног».
Сел Балда на кобылку верхом

Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесёнок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Черти стали в кружок,
Делать нечего — собрали полный оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка,
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

# Суриков Иван Захарович (1841–1880)
# Весна

Над землёю воздух дышит
День от дня теплее;
Стали утром зорьки ярче,
На небе светлее.
Всходит солнце над землёю
С каждым днем всё выше,
И весь день, кружась, воркуют
Голуби на крыше.
Вот и верба нарядилась
В белые серёжки,
И у хат играют дети, —
Веселятся, крошки!
Рады солнечному свету,
Рады дети воле,
И теперь их в душной хате
Не удержишь боле.
Вот и лед на речке треснул,
Речка зашумела
И с себя зимы оковы
Сбрасывает смело;
Берега крутые роет,
Разлилась широко…
Плеск и шум воды бурливой
Слышен издалёка.
В небе тучка набежала,
Мелкий дождик сеет…
В поле травка показалась,
Поле зеленеет.
На брединнике, на ивах
Развернулись почки,
И глядят, как золотые,
Светлые листочки.
Вот и лес оделся, песни
Птичек зазвенели,
Над травой цветов головки
Ярко запестрели.
Хороша весна-царица,
В плащ цветной одета!
Много в воздухе разлито

И тепла, и света…

# Толстой Лев Николаевич (1828–1910)

## Белка и волк (*Басня*)

Белка прыгала с ветки на ветку и упала прямо на сонного волка. Волк вскочил и хотел её съесть. Белка стала просить:

— Пусти меня.

Волк сказал:

— Хорошо, я пущу тебя, только ты скажи мне, отчего вы, белки, так веселы. Мне всегда скучно, а на вас смотришь, вы там вверху всё играете и прыгаете.

Белка сказала:

— Пусти меня прежде на дерево, я оттуда тебе скажу, а то я боюсь тебя.

Волк пустил, а белка ушла на дерево и оттуда сказала:

— Тебе скучно оттого, что ты зол. Тебе злость сердце жжёт. А мы веселы оттого, что мы добры и никому зла не делаем.

## За ягодами

### *I*

Возвращались из ночного мужики и ребята.

Тараска Резунов, малый лет двенадцати, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Чёрная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Тараска подъехал к избе, привязал лошадей у ворот и вошёл в сени.

— Эй, вы, заспалися! — закричал он на сестёр и брата, спавших в сенях на дерюжке.

Мать встала уже доить корову.

Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные светлые волосы.

Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого, как только вернётся из ночного. Он так и сделал. Мать дала ему кружку молока. Хлеба он сам отрезал себе, уселся за стол и стал есть.

Когда он в одной рубашке пошёл по дороге, дети красными и белыми пятнышками виднелись далеко впереди на тёмной зелени рощи. Тараска догнал их за большим лесом.

### *II*

Ягодное место было по сведённому лесу. Между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались красные ягоды.

Девчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали и клали какую похуже в рот, какую получше — в кружку.

— Ольгушка, сюда иди! Тут беда — сколько!

— Ау! — перекликались они, далеко не расходясь, когда заходили в кусты.

Тараска ушёл от них дальше в овраг.

— Грушка!

— Ась!

— А как волк!

— Ну, что ж волк? Ты что ж пугаешь? А я не боюсь, — говорила Груша и, забывшись, клала ягоду за ягодой, и самые лучшие не в кружку, а в рот.

— А Тараска-то наш ушёл за овраг. Тараска! Ау!

— Я-о! — отвечал Тараска из-за оврага. — Идите сюда!

— А и то пойдём, там больше.

## *III*

Девчата полезли вниз в овраг и тут, на припёке солнца, сразу напали на полянку, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и, не переставая, работали руками и губами.

Вдруг что-то шарахнулось и среди тишины с страшным, как им показалось, грохотом затрещало по траве и кустам.

Грушка упала от страха и рассыпала набранные ягоды.

— Мамушка! — завизжала она и заплакала.

— Заяц, это заяц! Тараска! Заяц! Вот он! — кричала Ольгушка, указывая на серо-бурую спинку с ушками, мелькавшую между кустов.

— Ты чего? — обратилась Ольгушка к Грушке, когда заяц скрылся.

— Я думала волк, страсть испугалась! — говорит Грушка, заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом.

## *IV*

Солнце уже совсем вышло из-за леса и жарко пекло землю и всё, что было на ней.

— Ольгушка, купаться! — пригласили Ольгу сошедшиеся к ней девочки.

И все большим хороводом отправились с песнями к реке. Барахтаясь, визжа и болтая ногами, девочки не заметили, как с запада заходила чёрная туча, как солнце стало скрываться и как запахло цветами и берёзовым листом и стало погромыхивать. Не успели девочки одеться, как пошёл дождь и измочил их до нитки.

### *V*

В прилипших к телу и потемневших рубашонках девчонки прибежали домой.

Когда они пообедали, рубашонки уже высохли. Перебрав землянику и уложив её в чашки, они понесли её на дачу.

Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок на платке, в котором был завязан двугривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги.

Тараска же, с завтрака пропахавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого, тёмного дуба.

## Как боролся русский богатырь

При князе Владимире напали на Россию печенеги. Подошли они с большим войском под Киев. Князь Владимир вышел со своим войском навстречу. Сошлись они на реке Трубеже и остановились.

Князь печенежский подъехал к реке, позвал князя Владимира и сказал:

— Зачем нам много народа убивать. А сделаем вот как: ты выпусти своего силача, а я своего выпущу, и пускай они поборются. Если твой будет сильнее моего, так я уйду, а если мой одолеет, то покорись ты со всей своей землёю.

Князь Владимир вернулся к своему войску и сказал:

— А есть ли в нашем войске такой силач, чтобы взялся бороться с печенегом?

Один старик сказал:

— Я пришёл сюда с сыновьями сам-четвёрт, а пятый, меньшой сын, Иван остался дома. Вели дослать за ним. Ему Бог дал силу большую.

Владимир сказал:

— Какая его сила?

Старик сказал:

— Его сила вот какая: однова́ мял воловью шкуру. Мне не показалось, как он это делает, я и побрани его. Он рассердись да и разорви шкуру пополам.

Князь Владимир послал за Иваном. Когда его привели, князь Владимир сказал ему:

— Можешь ты бороться с печенегом?

Иван сказал:

— Я не знаю своей силы. Надо испытать.

Князь Владимир велел привести большого быка и сказал:

— Ну покажи над ним свою силу.

Иван велел раздразнить быка, и, когда бык набежал на него, он схватил его рукой за бок… а потом кулаком ударил его между рог и убил. Владимир послал сказать печенежскому князю, чтобы он выслал своего силача.

На другой день сошлись оба войска. В середине сделали чистое место. От русских вышел Иван. Он был невелик ростом и лицом бел. От печенегов вышел чёрный великан.

Когда печенег увидал Ивана, он сказал:

— Зачем малого привели, я раздавлю его.

Когда силачи вышли на середину, на чистое место, они схватились за кушаки, укрепились ногами и начали сжимать и ворочать друг друга. Печенежский силач хотел поднять Ивана и перекинуть через себя его, но Иван так крепко сжал печенега, что он не мог дышать и захрипел. Тогда Иван приподнял его, шмякнул об землю и расшиб до смерти.

Печенеги испугались и побежали, и русские побили их.

## Комар и лев (*Басня*)

Комар прилетел ко льву и говорит: «Ты думаешь, в тебе силы больше моего? Как бы не так! Какая в тебе сила? Что царапаешь когтями и грызёшь зубами — это и бабы так-то с мужиками дерутся. Я сильнее тебя; хочешь, выходи на войну!» И комар затрубил и стал кусать льва в голые щёки и нос. Лев стал бить себя по лицу и драть когтями; изодрал себе в кровь всё лицо и из сил выбился.

Комар затрубил с радости и улетел. Потом запутался в паутину к пауку, и стал паук его сосать. Комар и говорит: «Сильного зверя, льва, одолел, а вот от дрянного паука погибаю».

## Рассказ аэронавта

Народ собрался смотреть на то, как я полечу. Шар был готов. Он подрагивал, рвался вверх на четырёх канатах и то морщился, то надувался. Я простился со своими, сел в лодку, осмотрел, все ли мои припасы были по местам, и закричал: «Пускай!» Канаты подрезали, и шар поднялся кверху, сначала тихо, — как жеребец

сорвался с привязи и оглядывался, — и вдруг дёрнул кверху и полетел так, что дрогнула и закачалась лодка. Внизу захлопали в ладоши, закричали и замахали платками и шляпами. Я взмахнул им шляпой и не успел опять надеть её, как уже я был так высоко, что с трудом мог разобрать людей. Первую минуту мне стало жутко и мороз пробежал по жилам; но потом вдруг так стало весело на душе, что я забыл бояться. Мне уже чуть слышен был шум в городе. Как пчёлы, шумел народ внизу. Улицы, дома, река, сады в городе виднелись мне внизу, как на картинке. Мне казалось, что я царь над всем городом и народом, — так мне весело было наверху. Я шибко поднимался кверху, только подрагивали верёвки в лодке, да раз налетел на меня ветер, перевернул меня два раза на месте; но потом опять не слыхать было, лечу ли я или стою на месте. Я только потому замечал, что лечу кверху, что всё меньше и меньше становилась подо мной картинка города и дальше становилось видно. Земля точно росла подо мной, становилась шире и шире, и вдруг я заметил, что земля подо мной стала как чашка. Края были выпуклые, — на дне чашки был город. Мне веселее и веселее становилось. Весело и легко было дышать и хотелось петь. Я запел, но голос мой был такой слабый, что я удивился и испугался своему голосу.

Солнце стояло ещё высоко, но на закате тянулась туча, — и вдруг она закрыла солнце. Мне опять стало жутко, и я, чтоб заняться чем-нибудь, достал барометр и посмотрел на него, и по нём узнал, что я поднялся уже на четыре версты. Когда я клал на место барометр, что-то затрепыхалось около меня, и я увидел голубка. Я вспомнил, что взял голубка затем, чтобы спустить его с записочкой вниз. Я написал на бумажке, что я жив и здоров, на четырёх верстах высоты, и привязал бумажку к шее голубя. Голубь сидел на краю лодки и смотрел на меня своими красноватыми глазами. Мне казалось, что он просил меня, чтобы я не сталкивал его. С тех пор как стало пасмурно, внизу ничего не было видно. Но нечего делать, надо было послать вниз голубя. Он дрожал всеми перышками, когда я взял его в руку. Я отвёл руку и бросил его. Он, часто махая крыльями, полетел боком, как камень, книзу. Я посмотрел на барометр. Теперь я уже был на пять вёрст над землёю и почувствовал, что мне воздуха мало, и я часто стал дышать. Я потянул за верёвку, чтобы выпустить газ и спускаться, но ослабел ли я или сломалось что-нибудь, — клапан не открывался. Я обмер. Мне не слыхать было, чтобы я поднимался, ничто не шевелилось, но дышать мне становилось всё тяжелее и тяжелее. «Если я не остановлю шар, — подумал я, — то он лопнет, и я пропал». Чтобы узнать, поднимаюсь ли я или стою на месте, я выбросил бумажки из лодки. Бумажки, точно

камни, летели книзу. Значит, я, как стрела, летел кверху.

Я изо всех сил ухватился за верёвку и потянул. Слава Богу, клапан открылся, засвистало что-то. Я выбросил ещё бумажку, — бумажка полетела около меня и поднялась. Значит, я опускался. Внизу всё ещё ничего не было видно, только как море тумана расстилалось подо мной. Я спустился в туман: это были тучи. Потом подул ветер, понёс меня куда-то, и скоро выглянуло солнце, и я увидел под собой опять чашку земли. Но не было ещё нашего города, а какие-то леса и две синие полосы — реки. Опять мне радостно стало на душе и не хотелось спускаться; но вдруг что-то зашумело подле меня, и я увидал орла.

Он удивлёнными глазами поглядел на меня и остановился на крыльях. Я, как камень, летел вниз. Я стал скидывать балласт, чтобы задержаться.

Скоро мне стали видны поля, лес и у леса деревня, и к деревне идёт стадо. Я слышал голоса народа и стада. Шар мой спускался тихо. Меня увидали. Я закричал и бросил им верёвки. Сбежался народ. Я увидел, как мальчик первый поймал верёвку. Другие подхватили, прикрутили шар к дереву, и я вышел. Я летал только три часа. Деревня эта была за двести пятьдесят вёрст[13] от моего города.

## Старик и смерть (*Басня*)

Старик раз нарубил дров и понёс. Нести было далеко; он измучился, сложил вязанку и говорит: «Эх, хоть бы смерть пришла!» Смерть пришла и говорит: «Вот и я, чего тебе надо?» Старик испугался и говорит: «Мне вязанку поднять».

## Три калача и одна баранка (*Басня*)

Одному мужику захотелось есть. Он купил калач и съел; ему всё ещё хотелось есть. Он купил другой калач и съел; ему всё ещё хотелось есть. Он купил третий калач и съел, и ему всё ещё хотелось есть. Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт. Тогда мужик ударил себя по голове и сказал:

«Экой я дурак! что ж я напрасно съел столько калачей? Мне бы надо сначала съесть одну баранку».

# Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883)

## Бежин луг (*Отрывок*)

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра… Но вот опять хлынули играющие лучи — и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, лёгкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза, разве кой-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределённые, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землёй, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не ярки; на всём лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силён, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты — несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба…

## В берёзовой роще (*Отрывок из рассказа «Свидание»*)

Я сидел в берёзовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам тёплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то всё заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая…

Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не весёлый, смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней всё улыбнулось… то вдруг опять всё кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли… и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь.

Листва на берёзах была ещё почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна молоденькая, вся красная или вся золотая…

# Тютчев Фёдор Иванович (1803–1873)

## «Неохотно и несмело…»

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.
Ветра тёплого порывы,
Дальний гром и дождь порой…
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.
Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил её края.
Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Всё сердитей и смелей.
Солнце раз ещё взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сияньи потонула
Вся смятенная земля.

## «Эти бедные селенья…»

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!
Не поймёт и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.
Удручённый ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь небесный
Исходил, благословляя.

# Ушинский Константин Дмитриевич (1824–1871)

## Как рубашка в поле выросла

### *I*

Видела Таня, как отец её горстями разбрасывал по полю маленькие блестящие зёрна, и спрашивает:

— Что ты, тятя, делаешь?

— А вот сею ленок, дочка: вырастет рубашка тебе и Васютке.

Задумалась Таня: никогда она не видала, чтобы рубашки в поле росли.

Недели через две покрылась полоска зелёною шелковистою травкой, и подумала Таня: «Хорошо, если бы у меня была такая рубашечка!» Раза два мать и сёстры Тани приходили полоску полоть и всякий раз говорили девочке: «Славная у тебя рубашечка будет!» Прошло ещё несколько недель; травка на полоске поднялась, и на ней показались голубые цветочки. «У братца Васи такие глазки, — подумала Таня, — но рубашечек таких я ни на ком не видала».

Когда цветочки опали, то на место их показались зелёные головки. Когда головки забурели и подсохли, мать и сёстры Тани повыдергали весь лён с корнем, навязали снопиков и поставили их на поле просохнуть.

### *II*

Когда лён просох, то стали у него головки отрезывать; а потом потопили в речке безголовые пучки и ещё камнем сверху навалили, чтобы не всплыл.

Печально смотрела Таня, как её рубашечку топят; а сестры тут ей опять сказали: «Славная у тебя, Таня, рубашка будет!»

Недели через две вынули лён из речки, просушили и стали колотить сначала доской на гумне, потом трепалом[14] на дворе, так что от бедного льна летела кострика[15] во все стороны. Вытрепавши, стали лён чесать железным гребнем, пока он сделался мягким и шелковистым. «Славная у тебя рубашка будет!» — опять сказали Тане сёстры. Но Таня подумала: «Где же тут рубашка? Это похоже на волоски Васи, а не на рубашку».

## *III*

Настали длинные зимние вечера. Сёстры Тани надели лён на гребни и стали из него нитки прясть. «Это нитки! — думает Таня. — А где же рубашечка?»

Прошла зима, весна и лето, — настала осень. Отец установил в избе кросна, натянул из них основу и начал ткать. Забегал проворно челночок между нитками, и тут уже Таня сама увидала, как из ниток выходит холст.

Когда холст был готов, стали его на морозе морозить, по снегу расстилать; а весной расстилали его по траве на солнышке и взбрызгивали водой. Сделался холст из серого белым, как кипень[16].

Настала опять зима. Накроила из холста мать рубашек; принялись сёстры рубашки шить и к Рождеству надели на Таню и Васю новые, белые, как снег, рубашечки.

## На поле летом

Весело на поле, привольно на широком! До синей полосы далёкого леса точно бегут по холмам разноцветные нивы. Волнуется золотистая рожь; вдыхает она крепительный воздух. Синеет молодой овёс; белеет цветущая гречиха с красными стебельками, с бело-розовыми, медовыми цветочками. Подальше от дороги запрятался кудрявый горох, а за ним бледно-зелёная полоска льна с голубоватыми глазками. На другой стороне дороги чернеют поля под струящимся паром.

Жаворонок трепещется над рожью, а острокрылый орёл зорко смотрит с вышины: видит он и крикливую перепёлку в густой ржи, видит он и полевую мышку, как она спешит в свою нору с зёрнышком, упавшим из спелого колоса. Повсюду трещат сотни невидимых кузнечиков.

# Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892)

## Весенний дождь

Ещё светло перед окном,
В разрывы о́блак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет.
А уж от неба до земли,
Качаясь, движется завеса,
И будто в золотой пыли
Стоит за ней опушка леса.
Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым мёдом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит.

## «Кот поёт, глаза прищуря…»

Кот поёт, глаза прищуря,
Мальчик дремлет на ковре,
На дворе играет буря,
Ветер свищет во дворе.
«Полно тут тебе валяться,
Спрячь игрушки да вставай!
Подойди ко мне прощаться,
Да и спать себе ступай».
Мальчик встал. А кот глазами
Поводил и всё поёт;
В окна снег валит клоками,
Буря свищет у ворот.

## «Облаком волнистым…»

Облаком волнистым
Пыль встаёт вдали;
Конный или пеший —
Не видать в пыли!
Вижу: кто-то скачет

На лихом коне.
Друг мой, друг далёкий,
Вспомни обо мне!

## «Печальная берёза…»

Печальная берёза
У моего окна,
И прихотью мороза
Разубрана она.
Как гроздья винограда,
Ветвей концы висят, —
И радостен для взгляда
Весь траурный наряд.
Люблю игру денницы
Я замечать на ней,
И жаль мне, если птицы
Стряхнут красу ветвей.

# Русская литература конца XIX — начала XX века

# Бальмонт Константин Дмитриевич (1867–1942)
# Снежинка

Светло-пушистая
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая смелая!
Дорогой бурною
Легко проносится,
Не в высь лазурную,
На землю просится.
Лазурь чудесную
Она покинула,
Себя в безвестную
Страну низринула.
В лучах блистающих
Скользит, умелая,
Средь хлопьев тающих
Сохранно-белая.
Под ветром воющим
Дрожит, взметается,
На нём, лелеющем,
Светло качается.
Его качелями
Она утешена,
С его метелями
Крутится бешено.
Но вот кончается
Дорога дальняя,
Земли касается
Звезда кристальная.
Лежит пушистая
Снежинка смелая,
Какая чистая,
Какая белая!

# Блок Александр Александрович (1880–1921)

## «Гроза прошла…»

Гроза прошла, и ветка белых роз
В окно мне дышит ароматом…
Ещё трава полна прозрачных слёз,
И гром вдали гремит раскатом.

## Учитель

Кончил учитель урок,
Мирно сидит на крылечке.
Звонко кричит пастушок.
Скачут барашки, овечки.
Солнце за горку ушло,
Светит косыми лучами.
В воздухе сыро, тепло,
Белый туман за прудами.
Старый учитель сидит, —
Верно, устал от работы:
Завтра ему предстоит
Много трудов и заботы.
Завтра он будет с утра
Школить упрямых ребяток,
Чтобы не грызли пера
И не марали тетрадок.
Стадо идёт и пылит,
Дети за ним — врассыпную.
Старый учитель сидит,
Голову клонит седую.

# Бунин Иван Алексеевич (1870–1953)

## Листопад (*Отрывок*)

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Весёлой, пёстрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Берёзы жёлтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, ёлочки темнеют,
А между клёнами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пёстрый терем свой.
Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылёк
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мёртвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Заворожённый тишиной…

## Первый снег

Зимним холодом пахнуло
На поля и на леса.

Ярким пурпуром зажглися
Пред закатом небеса.
Ночью буря бушевала,
А с рассветом на село,
На пруды, на сад пустынный
Первым снегом понесло.
И сегодня над широкой
Белой скатертью полей
Мы простились с запоздалой
Вереницею гусей.

## Экзамены в гимназию (*Отрывок из романа «Жизнь Арсеньева»*)

В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околыше. Просто Алёши не стало, — теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии…

Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым[17] и со всем родным гнездом, находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих, городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией с её строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжималось сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но сейчас же я с радостью говорил себе: всё это ещё так не скоро! И с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моём будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга…

В начале августа меня повезли наконец — на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса[18], у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица, Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», — решительно сказал отец, и все несмело сели. «Ну, с Богом», — через мгновенье ещё решительнее сказал он, и все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился[19] — пока она, плача, целовала и крестила меня, я уже думал: «А может, Бог даст, я ещё не выдержу…»

Увы, я выдержал. Три года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить

пятьдесят пять на тридцать… Попросили «чётко и красиво» написать: «Снег бел, но невкусен» да прочесть наизусть: «Румяной зарёю покрылся восток…». Тут мне даже кончить не дали; едва я дошёл до пробужденья стад «на мягких лугах», как меня остановили, — верно, учителю (рыжему, в золотых очках, с широко открытыми ноздрями) слишком хорошо было известно это пробужденье, и он поспешно сказал:

— Ну, прекрасно, — довольно, довольно, вижу, что знаешь…

Всё вышло гораздо проще, чем я ожидал, разрешилось с неожиданной быстротой, лёгкостью, незначительностью. А меж тем ведь какую черту перешагнул я!..

После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне даётся отпуск до первого сентября. У отца точно гора с плеч свалилась, — он страшно соскучился сидеть в «учительской», где испытывали мои знания, — у меня ещё более. Всё вышло отлично: и выдержал, и целых три недели свободы впереди!..

— Ну-с, зайдём теперь поскорей к портному — и обедать! — весело сказал отец, выходя из гимназии.

И мы зашли к какому-то маленькому человеку, удивившему меня той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку. Потом в «шапочное заведение», хозяин которого… выбрал мне… превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся, — на радость всем.

# Есенин Сергей Александрович (1895–1925)
# «Вечер, как сажа…»

Вечер, как сажа,
Льётся в окно.
Белая пряжа
Ткёт полотно.
Пляшет гасница,
Прыгает тень.
В окна стучится
Старый плетень.
Липнет к окошку
Черная гать.
Девочку-крошку
Байкает мать.
Взрыкает зыбка
Сонный тропарь:
«Спи, моя рыбка,
Спи, не гутарь».

# Куприн Александр Иванович (1870–1938)
# Чудесный доктор

Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории да придал устному рассказу письменную форму.

— Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросёнок-то… Смеётся… Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри… травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещённые ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копчёные и маринованные рыбы; ниже, окружённые гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала… Бесчисленное множество баночек и коробочек с солёными, варёными и копчёными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, — поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища. Он дёрнул брата за рукав и произнес сурово:

— Ну, Володя, идём, идём… Нечего тут…

Одновременно подавив тяжёлый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюблённо-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели ёлку, которая издали казалась громадной гроздью ярких,

сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки весёлой польки… Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

Но мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие ёлки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разрумяненные морозом смеющиеся лица нарядных дам — всё осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещённые косогоры… Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его — собственно подвал — был каменный, а верх — деревянный. Обойдя тесным, обледенелым и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскали ощупью свою дверь и отворили её.

Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату верёвке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс — настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; её лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтём качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, — женщина обернула назад своё встревоженное лицо.

— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

— Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

— Ну, и что же? Что ты ему сказал?

— Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда… сволочи вы…»

— Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

— Швейцар разговаривал… Кто же ещё? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман… Есть тоже у барина время ваши письма читать…»

— Ну, а ты?

— Я ему всё, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего… Машутка больна… Помирает…» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

— А меня он по затылку, — сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

— Вот оно, письмо-то…

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душной, промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на беспрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

— Там борщ есть, от обеда остался… Может, поели бы? Только холодный, — разогреть-то нечем…

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика — все трое даже побледнев от напряженного ожидания — обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щёки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на

двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим… Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и перезалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут ещё пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала бельё.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, клянча и унижаясь повсюду, Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов… Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег… Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

— Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

— Все равно, сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду ещё… Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочёл ему наставление, что надо работать, а не клянчить, а во второй — его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось всё время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесённых снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней

ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви. Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, — думал он, — и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, служившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шёл по аллее. Сначала был виден огонёк то вспыхивающей, то потухавшей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в тёплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

— Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. — Морозно… тихо. Что за прелесть — русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

— А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, — продолжал незнакомец (в руках у него было несколько свертков). — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

— Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я… а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают… Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день не ел… Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдёт, но он ошибся. Старик приблизил к нему своё умное, серьёзное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:

— Подождите… не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребёнка, обо всех своих несчастиях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущённой души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку. Мерцалов невольно тоже встал.

— Едемте! — сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. — Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слёзы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопчённый чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

— Ну, полно, полно, голубушка, — заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. — Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить всё, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом… Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи. Доктор

сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдёте в аптеку… Давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание… Продолжайте согревающий компресс… Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

— Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнёс:

— Э! Вот ещё пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов…

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова — того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез: — С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на

казённый счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор — это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невозвратимо.

# Игорь Северянин (Лотарев Игорь Васильевич) (1887–1941)

## Её питомцы

Она кормила зимних птичек,
Бросая крошки из окна,
От их весёлых перекличек
Смеялась радостно она.
Когда ж она бежала в школу,
Питомцы, слыша снега хруст,
Ватагой шумной и весёлой
Неслись за ней с куста на куст!

## «Кружевеет, розовеет утром лес…»

Кружевеет, розовеет утром лес,
Паучок по паутине вверх полез.
Бриллиантится[20] весёлая роса.
Что за воздух! Что за свет! Что за краса!
Хорошо гулять утрами по овсу,
Видеть птичку, лягушонка и осу,
Слушать сонного горлана-петуха,
Обменяться с дальним эхом: «Ха-ха-ха»!

# Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) Детство Никиты. Сугробы (*глава из повести*)

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым мягким снегом. Синели в нём глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щёки. Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор.

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступенькам. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой верёвкой. Никита осмотрел — сделана прочно, попробовал — скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада, к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие вётлы, покрытые инеем, — каждая веточка была точно из снега.

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам…

На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс — и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пушистых полей. Налево, над самой кручей, чернели избы, торчали журавли[21] деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели — мальчишки с «нашего конца» деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, «кончанские», очень опасные.

Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на неё верхом, крепко взялся за верёвку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, всё вниз, как стрела. И вдруг там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лёд. Пошла тише, тише и стала.

Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил её в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то невдалеке, на снежном поле, увидел чёрную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича[22]. Никита схватил

лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была лёгкая — снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в неё, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет, — было уютно и приятно. Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки…

— Никита! Куда ты провалился? — услышал он голос Аркадия Ивановича.

Никита… посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович.

— Где ты, разбойник?

Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс.

— Вылезай, всё равно я тебя оттуда вытащу.

Никита молчал. Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

— Не хочешь, не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары… Впрочем, прощай, я ухожу…

— Какое письмо? — спросил Никита.

— Ага! Значит, ты всё-таки здесь.

— Скажите, от кого письмо?

— Письмо насчёт приезда одних людей на праздники.

Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся.

# Цветаева Марина Ивановна (1892–1941)
# «Август — астры…»

Август — астры,
Август — звёзды,
Август — грозди
Винограда и рябины
Ржавой — август!
Полновесным, благосклонным
Яблоком своим имперским,
Как дитя, играешь, август.
Как ладонью, гладишь сердце
Именем своим имперским:
Август! — Сердце!
Месяц поздних поцелуев,
Поздних роз и молний поздних!
Ливней звёздных —
Август! — Месяц
Ливней звёздных!

# Саша Чёрный (Гликберг Александр Михайлович) (1880–1932)

## На коньках

Мчусь, как ветер, на коньках
Вдоль лесной опушки…
Рукавицы на руках,
Шапка на макушке.
Раз-два!
Вот и поскользнулся…
Раз-два! Чуть не
кувыркнулся…
Раз-два! Крепче на носках!
Захрустел, закрякал лёд,
Ветер дует справа.
Ёлки-волки! Полный ход —
Из пруда в канаву…
Раз-два! По скользкой дорожке…
Раз-два! Весёлые ножки…
Раз-два! Вперёд и вперёд…

## «Ну-ка, дети…»

Ну-ка, дети!
Кто храбрее всех на свете?
Так и знал — в ответ все хором
нараспев:
…!

Лев? Ха-ха… Легко быть храбрым,
Если лапы шире швабры.
Нет, не лев, не слон…
Храбрее всех, малыш, —
…!

Сам вчера я видел чудо,
Как мышонок влез на блюдо
И у носа спящей кошки
Не спеша поел все крошки.
Что?

# Современная литература

# Александрова Зинаида Николаевна (1907–1983)

## Про девочку Да и мальчика Нет

Я знаю домик у пруда.
И это не секрет,
Что там живет сестрёнка Да
С упрямым братцем Нет.
Малыш упрямится всегда,
На всё один ответ —
И надо бы ответить «да»,
Но он ответит «нет».
Кем краска пролита? Когда?
На стенке пальцев след.
Краснея, сознаётся Да,
Ладошки прячет Нет.
На кухне булькает вода,
Большой котёл нагрет.
Купаясь, брызгается Да,
Грязнулей ходит Нет.
— Жить невозможно без труда, —
Твердит ребятам дед.
Цветы польёт из лейки Да,
Но их потопчет Нет.
Зайдут ребята иногда,
Чтоб взять велосипед.
Катается с друзьями Да,
Один скучает Нет.
На стол поставлена еда,
Давно готов обед.
Берёт большую ложку Да,
Не хочет супу Нет.
Когда вечерняя звезда
Зажжёт в окошке свет,
Послушно спать ложится Да,
Капризничает Нет.
Но иногда с мальчишкой Нет
Случается беда.
— Конфетку хочешь? — спросит дед.
И внук ответит: — Да!
А хорошо бы, чтоб всегда

И не из-за конфет
Нам отвечал послушно «да»
Упрямый мальчик Нет.

## Родина

Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор…
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног
И большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

# Берестов Валентин Дмитриевич (1928–1998)

## «Нет, руки зимой не у тех горячей…»

Нет, руки зимой не у тех горячей,
Кто клал их в карман или грел у печей,
А только у тех,
А только у тех,
Кто крепко сжимал обжигающий снег,
И крепости строил на снежной горе,
И снежную бабу лепил во дворе.

## Рассказ по картинке

Рассказ по картинке! Рассказ по картинке!
Висела она на доске:
Две девочки в поле бегут по тропинке
И что-то несут в узелке,
И трактор стоит вдалеке.
И каждый из нас
Придумал рассказ,
Куда и зачем по тропинке
Девчонки бегут на картинке.
Звонок. Перемена. И новый урок…
Про девочек этих забыть я не мог,
Про трактор, который стоит вдалеке,
Про завтрак, который у них в узелке.
И ночью мне было совсем не до сна:
Гадал я, какие у них имена,
И долго трудился мой разум
Над тем незабвенным рассказом.

## Буксир

Я — буксир. Что же делать буксиру?
Прикрепили — поволоку.
Вот опять я иду на квартиру
К прикреплённому ученику.
Прикреплённый сидит как побитый,

И глядит на учебник с обидой,
И печально кладёт на диван
Приключенческий пухлый роман.
Что глядишь? Я такой же мальчишка
И нисколько тебя не умней,
А учебник — такая же книжка,
Разве только чуть-чуть поскучней.

## «Он руку над партою тянет и тянет…»

Он руку над партою тянет и тянет.
Неужто никто на него и не взглянет?
Не нужно отметок в журнал и в дневник,
Довольно того, что он в тайну проник,
Что чудо свершилось, задача решилась…
Спросите, пожалуйста! Сделайте милость!

# Голявкин Виктор Владимирович (1929–2001)

## Как я помогал маме мыть пол

Я давно собирался пол вымыть. Только мама не разрешала мне. «Не получится, — говорит, — у тебя…»

— Посмотрим, как не получится!

Трах! — опрокинул ведро и пролил всю воду. Но я решил, так даже лучше. Так гораздо удобнее мыть пол. Вся вода на полу; тряпкой три — и всё дело. Воды маловато, правда. Комната-то у нас большая. Придётся ещё ведро воды на пол вылить. Вылил ещё ведро, вот теперь красота! Тру тряпкой, тру — ничего не выходит. Куда же воду девать, чтобы пол был сухой? Без насоса тут ничего не придумать. Велосипедный насос нужно взять. Перекачать воду обратно в ведро.

Но когда спешишь, всё плохо выходит. Воды на полу не убавилось, и в ведре пусто. Наверно, насос испортился.

Придётся теперь с насосом повозиться.

Тут мама в комнату входит.

— Что такое, — кричит, — почему вода?

— Не беспокойся, мама, всё будет в порядке. Надо только насос починить.

— Какой насос?

— Чтобы воду качать…

Мама взяла тряпку, смочила в воде, потом выжала тряпку в ведро, потом снова смочила, опять в ведро выжала. И так несколько раз подряд. И воды на полу не стало.

Всё оказалось так просто. А мама мне говорит:

— Ничего. Ты мне всё же помог.

## Удивительная профессия

Как только погас у нас в комнате свет, к нам сейчас же стали стучать соседи. Они спрашивали: «Что такое?» Мы с мамой тоже пошли стучать к соседям и спрашивать: «Что такое?»

Но никто ничего не знал, и все только спрашивали: «Что такое? Что случилось?»

Только один дядя Яша сказал:

— Ничего не случилось. Погас свет — и всё. Перегорели пробки.

Все собрались на улице возле подъезда.

— Вот ещё новость!

— Как это так!

— Никогда так не было!

Все говорили, что дело не в пробке, а где-то в сети, а я спрашивал, где эта пробка и сеть, но мне никто не ответил.

Дядя Яша пошёл звонить монтёрам, а все стали говорить, как погас свет.

Тётя Нюша сказала:

— Вы знаете, как только это случилось, моя кошка кинулась в кухню и съела там свежую рыбу.

Тётя Женя сказала:

— Вы слышите? Это кричит мой ребёнок. Он будет кричать, пока свет не зажгут.

Тётя Ира сказала:

— Не верится, что раньше жили без света. С какими-то свечками. С лампами, которые коптят. Жили в каком-то жалком мерцании. В каких-то потёмках.

Наша бабушка сказала:

— Как же, помню! Ещё как помню! И ламп-то у нас не было. Темень. Мрак. Ничего не видно.

Бабушка наша жила при царе. До сих пор возмущается царским режимом. Как начнёт — не остановится. Но тут монтёры приехали.

Я смотрю, как будут свет зажигать. Интересно ведь!

Подъезжает к столбу машина. Вместо кузова круглый такой балкончик. В этот балкончик залез монтёр. И балкончик стал вверх подниматься. Монтёр добирается до проводов. И что-то там с проводами делает.

И загорается свет во всём доме.

Монтёр говорит:

— Всё в порядке!

Наша бабушка говорит:

— Удивительная у вас профессия!

Монтёр говорит:

— Это дело простое.

Тётя Ира говорит:

— Замечательное ваше дело!

Монтёр… уезжает в своей машине.

Я смотрю вслед и думаю:

«Вот бы мне ездить в такой машине! Я нёсся бы во весь дух по улицам. Я просил бы шофёра: «Скорей! Скорей!» Мы обгоняли бы все машины… И люди бы, глядя на нас, говорили: «Смотрите! Смотрите, монтёры едут! Удивительная у них профессия!»

# Максим Горький (Пешков Алексей Максимович) (1868–1936)

## В людях (*Отрывок*)

Уходим всё дальше в лес, в синеватую мглу, изрезанную золотыми лучами солнца. В тепле и уюте леса тихонько дышит какой-то особенный шум, мечтательный и возбуждающий мечты. Скрипят клесты́, звенят синицы, смеётся кукушка, свистит иволга, немóлчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поёт странная птица — щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней сосны, подняв золотую головку, лежит уж и стережёт их. Щёлкает белка, в лапах сосен мелькает её пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть всё больше, идти всё дальше.

Между стволов сосен являются прозрачные, воздушные фигуры огромных людей и исчезают в зелёной густоте; сквозь неё просвечивает голубое, в серебре, небо. Под ногами пышным ковром лежит мох, расшитый брусничником и сухими нитями клюквы, костяника сверкает в траве каплями крови, грибы дразнят крепким запахом.

Бабушка в лесу — точно хозяйка и родная всему вокруг, — она ходит медведицей, всё видит, всё хвалит и благодарит. От неё — точно тепло течёт по лесу, и когда мох, примятый её ногой, расправляется и встаёт — мне особенно приятно это видеть.

Однажды, ослеплённый думами, я провалился в глубокую яму, распоров себе сучком бок и разорвав кожу на затылке. Сидел на дне, в холодной грязи, липкой, как смола, и с великим стыдом чувствовал, что сам я не вылезу, а пугать криком бабушку было неловко. Однако я позвал её.

Она живо вытащила меня и, крестясь, говорила:

— Слава тебе Господи! Ну ладно, что пустая берлога, а кабы там хозяин лежал?

И заплакала сквозь смех. Потом повела меня к ручью, вымыла, перевязала раны своей рубахой, приложив каких-то листьев, утоливших боль, а отвела в железнодорожную будку, — до дому я не мог дойти, сильно ослабев.

Я стал почти каждый день просить бабушку:

— Пойдём в лес!

Она охотно соглашалась, и так мы прожили всё лето, до поздней осени, собирая травы, ягоды, грибы и орехи.

Лес вызывал у меня чувство душевного покоя и уюта; в этом

чувстве исчезали все мои огорчения, забывалось неприятное, и в то же время у меня росла особенная настороженность ощущений: слух и зрение становились острее, память — более чуткой, вместилище впечатлений — глубже.

И всё более удивляла меня бабушка, я привык считать её существом высшим всех людей, самым добрым и мудрым на земле, а она неустанно укрепляла это убеждение. Как-то вечером, набрав белых грибов, мы, по дороге домой, вышли на опушку леса; бабушка присела отдохнуть, а я зашёл за деревья — нет ли ещё гриба?

Вдруг слышу её голос и вижу: сидя на тропе, она спокойно срезает корни грибов, а около неё, вывесив язык, стоит серая поджарая собака.

— А ты иди, иди прочь! — говорит бабушка. — Иди с Богом…

Незадолго перед этим Валёк отравил мою собаку; мне очень захотелось приманить эту, новую. Я выбежал на тропу, собака странно изогнулась, не ворочая шеей, взглянула на меня зелёным взглядом голодных глаз и прыгнула в лес, поджав хвост. Осанка у неё была не собачья, и когда я свистнул — она дико бросилась в кусты.

— Видал? — улыбаясь, спросила бабушка. — А я вначале опозналась, думала — собака, гляжу — ан клыки-то волчьи, да и шея тоже! Испугалась даже: ну, говорю, коли ты волк, так иди прочь! Хорошо, что летом волки смиренны…

Она никогда не плутала в лесу, безошибочно определяла дорогу к дому. По запахам трав она знала, какие грибы должны быть в этом месте, какие — в ином, и часто экзаменовала меня.

## Детство (*Отрывок*)

В саду, вокруг берёз, гудя, летали жуки, бондарь работал на соседнем дворе, где-то близко точили ножи; за садом, в овраге, шумно возились ребятишки, путаясь среди густых кустов. Очень манило на волю, вечерняя грусть вливалась в сердце.

Вдруг дедушка, достав откуда-то новенькую книжку, громко шлёпнул ею по ладони и бодро позвал меня:

— Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди сюда! Садись, скула́ калмы́цкая. Видишь фигуру? Это — аз. Говори: аз! Бу́ки! Ве́ди! Это — что?

— Буки.

— Попал. Это?

— Веди.

— Врёшь, аз! Гляди: глаго́ль, добро́, есть, — это что?

— Добро.

— Попал. Это?

— Глаголь.

— Верно. А это?

— Аз.

Вступилась бабушка:

— Лежал бы ты, отец, смирно…

— Стой, молчи! Это мне в пору, а то меня мысли одолевают. Валяй, Лексей!

Он обнял меня за шею горячей, влажной рукой и через плечо моё тыкал пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом, потом и печёным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и кричал в ухо мне:

— Земля! Люди!

Слова были знакомы, но славянские знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» — на сутулого Григория, «я» — на бабушку со мною, а в дедушке было что-то общее со всеми буквами азбуки. Он долго гонял меня по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей яростью, я тоже вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь, кашляя, он мял книгу и хрипел:

— Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах, лихорадка астраханская, чего ты орёшь, чего?

— Это вы кричите…

Мне весело было смотреть на него и на бабушку: она, облокотясь о стол, упираясь кулаком в щёки, смотрела на нас и негромко смеялась, говоря:

— Да будет вам надрываться-то!..

Дед объяснял мне дружески:

— Я кричу, потому что я нездоровый, а ты чего?

И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:

— А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету: память, слава Богу, лошадиная! Вали дальше, курнос!

Наконец он шутливо столкнул меня с кровати.

— Будет! Держи книжку. Завтра ты мне всю азбуку без ошибки скажешь…

# Драгунский Виктор Юзефович (1913–1972)

## Бы…

Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы всё вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, а взрослые должны были бы их во всём, во всём слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме «понравилась» такая история, что я хожу и командую ею, как хочу, да и папе небось тоже бы «понравилось», а о бабушке и говорить нечего. Что и говорить, я всё бы им припомнил! Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:

«Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот ещё новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! — И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: — Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Всё решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!»

И тут вошёл бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал:

«Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щёткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а не ногти. Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка… Вот так. Теперь садись к столу».

Он бы сел и потихоньку сказал маме:

«Ну как поживаешь?!»

А она бы сказала тоже тихонько:

«Ничего, спасибо!»

А я бы немедленно:

«Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь. Золотое правило! Папа! Положи сейчас же газету, наказание ты моё!»

И они сидели бы у меня как шёлковые, а уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил:

«Папа! Мама! Полюбуйтесь на нашу бабуленьку! Каков вид!

Грудь распахнута, шапка на затылке! Щёки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла? А это что за грязная палка? Ты зачем её в дом приволокла? Что? Это клюшка? Убери её сейчас же с моих глаз — на чёрный ход!»

Тут я бы прошёлся по комнате и сказал бы им всем троим:

«После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду!» Конечно, они бы сейчас же заныли и захныкали:

«И мы с тобой! И мы тоже хотим в кино!»

А я бы им:

«Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил! Ишь! Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите! Нате вам тридцать копеек на мороженое, и всё!»

Тогда бы бабушка взмолилась:

«Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно!»

Но я бы увильнул, я сказал бы:

«А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещён. Сиди дома, гулёна!»

И я бы прошёлся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого ещё хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы…

Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала:

— Ты ещё сидишь? Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей!

## Кот в сапогах

— Мальчики и девочки! — сказала Раиса Ивановна. — Вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия, так что готовьтесь. — И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла.

И, когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку от дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?

— Там видно будет.

И я забыл про это дело. Потому что дома мама мне сказала,

что она уезжает в санаторий на десять дней и чтоб я тут вёл себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой совсем замучился. То одно, то другое, и на улице шёл снег, и всё время я думал, когда же мама вернётся. Я зачёркивал клеточки на своём календаре.

И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит:

— Идёшь ты или нет?

Я спрашиваю:

— Куда?

Мишка кричит:

— Как — куда? В школу! Сегодня же утренник, и все будут в костюмах! Ты что, не видишь, что я уже гномик?

И правда, он был в накидке с капюшончиком.

Я сказал:

— У меня нет костюма! У нас мама уехала.

А Мишка говорит:

— Давай сами что-нибудь придумаем! Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала.

Я говорю:

— Ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки.

Бахилы — это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь — первое дело бахилы. Нипочём ноги не промочишь.

Мишка говорит:

— А ну надевай, посмотрим, что получится!

Я прямо с ботинками влез в папины сапоги.

Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно неудобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит:

— А шапку какую?

Я говорю:

— Может быть, мамину соломенную, что от солнца?

— Давай её скорей!

Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовата, съезжает до носа, но всё-таки на ней цветы.

Мишка посмотрел и говорит:

— Хороший костюм. Только я не понимаю, что он значит?

Я говорю:

— Может быть, он значит «мухомор»?

Мишка засмеялся:

— Что ты, у мухомора шляпка вся красная! Скорей всего, твой костюм обозначает «старый рыбак»!

Я замахал на Мишку:

— Сказал тоже! «Старый рыбак»!.. А борода где?

Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит:

— Ох! Настоящий кот в сапогах!

Я сразу догадался, что значит мой костюм! Я — «Кот в сапогах»! Только жалко хвоста нет! И спрашиваю:

— Вера Сергеевна, у вас есть хвост?

А Вера Сергеевна говорит:

— Разве я очень похожа на чёрта?

— Нет, не очень, — говорю я. — Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит «Кот в сапогах», а какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост! Вера Сергеевна, помогите, а?

Тогда Вера Сергеевна сказала:

— Одну минуточку…

И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с чёрными пятнами.

— Вот, — говорит, — это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдёт.

Я сказал «большое спасибо» и понёс хвост Мишке.

Мишка, как увидел его, говорит:

— Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью. Это чудный хвостик.

И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг ка-ак уколет меня!

Я закричал:

— Потише ты, храбрый портняжка! Ты что, не чувствуешь, что шьёшь прямо по живому? Ведь колешь же!

— Это я немножко не рассчитал!

Да опять как кольнет!

— Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну!

А он:

— Я в первый раз в жизни шью!

И опять — коль!!!

Я прямо заорал:

— Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?

Но тут Мишка сказал:

— Ура! Готово! Ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой!

Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы, по три уса с каждой стороны — длинные-длинные, до ушей!

И мы пошли в школу.

Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек пятьдесят. И ещё было очень много белых «снежинок». Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка.

И мы все очень веселились и танцевали.

И я тоже танцевал, но всё время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог, и шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка.

А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом:

— Просим «Кота в сапогах» выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм!

И я пошёл на сцену, и когда входил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки: «Дядю Стёпу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл туш, а я пошёл со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал; и опять все засмеялись.

А когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Конечно, гномов много, а ты один!

— Да, — сказал я, — но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну.

Мишка сказал:

— Не надо, что ты!

Я спросил:

— Ты какую хочешь?

— «Дядю Стёпу».

И я дал ему «Дядю Стёпу».

А дома я скинул свои огромные бахилы, и побежал к календарю, и зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю.

Посмотрел — а до маминого приезда осталось три дня!

# Житков Борис Степанович (1882–1938) Галка

У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала.

Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела: где колечко? А колечка нет.

Она крикнула брату:

— Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?

— Ничего я не брал, — ответил брат.

Сестра поссорилась с ним и заплакала.

Бабушка услыхала.

— Что у вас тут? — говорит. — Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду.

Бросились все искать очки — нет очков.

— Только что на стол их положила, — плачет бабушка. — Куда им деться? Как я теперь в иголку вдену?

И закричала на мальчика:

— Твои это дела! Зачем бабушку дразнишь?

Обиделся мальчик, выбежал из дому. Глядит — а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся — да это очки! Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать.

Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику:

— Говори, где мои очки!

— На крыше! — сказал мальчик.

Удивилась бабушка. А мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко. А потом достал стёклышек, а потом разных денежек много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра — колечку и сказала брату:

— Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка-воровка.

И помирилась с братом.

Бабушка сказала:

— Это всё они, галки да сороки. Что блестит, всё тащат.

# Зощенко Михаил Михайлович (1894–1958)
# Не надо врать

## *1*

Я учился очень давно. Тогда ещё были гимназии. И учителя тогда ставили в дневнике отметки за каждый спрошенный урок. Они ставили какой-нибудь балл — от пятёрки до единицы включительно.

А я был очень маленький, когда поступил в гимназию в приготовительный класс. Мне было всего семь лет. И я ничего ещё не знал, что бывает в гимназиях. И первые три месяца ходил буквально как в тумане.

И вот однажды учитель велел нам выучить наизусть стихотворение:

Весело сияет месяц над селом,
Белый снег сверкает синим огоньком…

А я этого стихотворения не выучил. Я не слышал, что сказал учитель. Я не слышал потому, что мальчики, которые сидели позади, то шлёпали меня книгой по затылку, то мазали мне ухо чернилами, то дёргали меня за волосы и, когда я от неожиданности вскакивал, подкладывали под меня карандаш или вставочку. И по этой причине я сидел в классе перепуганный и даже обалдевший и всё время прислушивался, что ещё замыслили против меня сидевшие позади мальчики.

А на другой день учитель, как назло, вызвал меня и велел прочитать наизусть заданное стихотворение.

А я не только не знал его, но даже и не подозревал, что на свете есть такие стихотворения. Но от робости я не посмел сказать учителю, что не знаю этих стихов. И совершенно ошеломлённый стоял за своей партой, не произнося ни слова.

Но тут мальчишки стали подсказывать мне эти стихи. И благодаря этому я стал лепетать то, что они мне шептали.

А в это время у меня был хронический насморк, и я плохо слышал одним ухом и поэтому с трудом разбирал то, что они мне подсказывали.

Ещё первые строчки я кое-как произнёс. Но когда дело дошло до фразы: «Крест под облаками как свеча горит», я сказал: «Треск под сапогами как свеча болит».

Тут раздался хохот среди учеников. И учитель тоже засмеялся. Он сказал:

— А ну-ка, дай сюда свой дневник! Я тебе туда единицу поставлю.

И я заплакал, потому что это была моя первая единица и я ещё не знал, что за это бывает.

## *2*

После уроков моя сестрёнка Лёля зашла за мной, чтобы вместе идти домой. По дороге я достал из ранца дневник, развернул его на той странице, где была поставлена единица, и сказал Лёле:

— Лёля, погляди, что это такое? Это мне учитель поставил за стихотворение «Весело сияет месяц над селом».

Лёля поглядела и засмеялась. Она сказала:

— Минька, это плохо! Это тебе учитель влепил единицу по русскому языку. Это до того плохо, что я сомневаюсь, что папа тебе подарит фотографический аппаратик к твоим именинам, которые будут через две недели.

Я сказал:

— А что же делать?

Лёля сказала:

— Одна наша ученица взяла и заклеила две страницы в своём дневнике там, где у неё была единица. Её папа послюнил пальцы, но отклеить не мог и так и не увидел, что там было.

Я сказал:

— Лёля, это нехорошо — обманывать родителей!

Лёля засмеялась и пошла домой. А я в грустном настроении зашёл в городской сад, сел там на скамейку и, развернув дневник, с ужасом глядел на единицу.

Я долго сидел в саду. Потом пошёл домой. Но, когда подходил к дому, вдруг вспомнил, что оставил свой дневник на скамейке в саду. Я побежал назад. Но в саду на скамейке уже не было моего дневника. Я сначала испугался, а потом обрадовался, что теперь нет со мной дневника с этой ужасной единицей.

## *3*

Я пришёл домой и сказал отцу, что потерял свой дневник. И Лёля засмеялась и подмигнула мне, когда услышала эти мои слова.

На другой день учитель, узнав, что я потерял дневник, выдал мне новый.

Я развернул этот новый дневник с надеждой, что на этот раз там ничего плохого нету, но там против русского языка снова стояла единица, ещё более жирная, чем раньше. И тогда я почувствовал такую досаду и так рассердился, что бросил этот дневник за книжный шкаф, который стоял у нас в классе.

Через два дня учитель, узнав, что у меня нету и этого дневника, заполнил новый. И, кроме единицы по русскому языку, он там вывел мне двойку по поведению. И сказал, чтоб мой отец непременно посмотрел мой дневник.

Когда я встретился с Лёлей после уроков, она мне сказала:

— Это не будет враньё, если мы временно заклеим страницу. И через неделю после твоих именин, когда ты получишь фотоаппаратик, мы отклеим её и покажем папе, что там было.

## *4*

Мне очень хотелось получить фотографический аппарат, и я с Лёлей заклеил уголки злополучной страницы дневника.

Вечером папа сказал:

— Ну-ка, покажи свой дневник! Интересно знать, не нахватал ли ты единиц!

Папа стал смотреть дневник, но ничего плохого там не увидел, потому что страница была заклеена.

И когда папа рассматривал мой дневник, на лестнице вдруг кто-то позвонил.

Пришла какая-то женщина и сказала:

— На днях я гуляла в городском саду и там на скамейке нашла дневник. По фамилии я узнала адрес и вот принесла его вам, чтобы вы сказали, не потерял ли этот дневник ваш сын.

Папа посмотрел дневник и, увидев там единицу, всё понял.

Он не стал на меня кричать. Он только тихо сказал:

— Люди, которые идут на враньё и обман, смешны и комичны, потому что рано или поздно их враньё всегда обнаружится. И не было на свете случая, чтоб что-нибудь из вранья осталось неизвестным.

Я, красный как рак, стоял перед папой, и мне было совестно от его тихих слов. Я сказал:

— Вот что: ещё один мой, третий, дневник с единицей я бросил в школе за книжный шкаф.

Вместо того чтоб на меня рассердиться ещё больше, папа улыбнулся и просиял. Он схватил меня на руки и стал меня

целовать. Он сказал:

— То, что ты в этом сознался, меня исключительно обрадовало. Ты сознался в том, что могло долгое время оставаться неизвестным. И это мне даёт надежду, что ты больше не будешь врать. И вот за это я тебе подарю фотоаппаратик.

Когда Лёля услышала эти слова, она подумала, что папа свихнулся в своём уме и теперь всем дарит подарки не за пятёрки, а за единицы.

И тогда Лёля подошла к папе и сказала:

— Папочка, я тоже сегодня получила двойку по физике, потому что не выучила урока.

Но ожидания Лёли не оправдались. Папа рассердился на неё, выгнал её из своей комнаты и велел ей немедленно сесть за книги.

И вот вечером, когда мы ложились спать, неожиданно раздался звонок.

Это к папе пришёл мой учитель. И сказал ему:

— Сегодня у нас в классе была уборка, и за книжным шкафом мы нашли дневник вашего сына. Как вам нравится этот маленький врун и обманщик, бросивший свой дневник, с тем чтобы вы его не увидели?

Папа сказал:

— Об этом дневнике я уже лично слышал от моего сына. Он сам признался мне в этом поступке. Так что нет причин думать, что мой сын неисправимый врун и обманщик.

Учитель сказал папе:

— Ах вот как. Вы уже знаете об этом. В таком случае — это недоразумение. Извините. Покойной ночи.

И я, лёжа в своей постели, услышав эти слова, горько заплакал. И дал себе слово говорить всегда правду.

И я действительно так всегда и теперь поступаю.

Ах, это иногда бывает очень трудно, но зато у меня на сердце весело и спокойно.

# Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968)

## Вода из реки Лимпопо

На столе в классе стояли залитые сургучом бутылки с желтоватой водой. На каждой бутылке была наклейка. На наклейках кривым старческим почерком было написано: «Вода из Нила», «Вода из реки Лимпопо»[23], «Вода из Средиземного моря»[24].

Бутылок было много. В них была вода из Волги, Рейна, Темзы[25], озера Мичиган[26], Мёртвого моря[27] и Амазонки[28]. Но сколько мы ни разглядывали эту воду, во всех бутылках она была одинаково жёлтая и скучная на вид.

Мы приставали к учителю географии Черпунову, чтобы он разрешил нам попробовать воду из Мёртвого моря. Нам хотелось узнать, действительно ли она такая солёная. Но пробовать воду Черпунов не позволял.

Низенький, с длинной, почти до колен, серой бородой и узкими глазами, Черпунов напоминал колдуна. Недаром и прозвище у него было Черномор.

Черпунов всегда притаскивал на уроки всякие редкости. Больше всего он любил приносить бутылки с водой. Он рассказывал, как сам набирал нильскую воду около Каира[29].

— Смотрите, — он взбалтывал бутылку, — сколько в ней ила. Нильский ил богаче алмазов. На нём расцвела культура Египта… Марковский, объясни классу, что такое культура.

Марковский вставал и говорил, что культура — это выращивание хлебных злаков, изюма и риса.

— Глупо, но похоже на правду! — замечал Черпунов и начинал показывать нам разные бутылки.

Он очень гордился водой из реки Лимпопо. Её прислал Черпунову в подарок бывший его ученик.

Чтобы мы лучше запоминали всякие географические вещи, Черпунов придумал наглядный способ. Так, он рисовал на классной доске большую букву А. В правом углу он вписывал в эту букву второе А, поменьше, в него — третье, а в третье — четвёртое. Потом он говорил:

— Запомните: это — Азия, в Азии — Аравия, в Аравии — город Аден, а в Адене сидит англичанин.

Мы запоминали это сразу и на всю жизнь.

Старшеклассники рассказывали, что на квартире у Черпунова

устроен небольшой географический музей, но старик к себе никого не пускает. Там были будто бы чучела колибри[30], коллекция бабочек, телескоп и даже самородок золота.

Наслушавшись об этом музее, я начал собирать свой музей. Он был, конечно, небогатый, но расцветал в моём воображении, как царство удивительных вещей. Разнообразные истории были связаны с каждой вещью — будь то пуговица румынского солдата или засушенный жук-богомол.

Однажды я встретил Черпунова в Ботаническом саду. Он сидел на мокрой от дождя скамейке и ковырял тростью землю. Я снял фуражку и поклонился.

— Пойди сюда! — подозвал меня Черпунов и протянул мне толстую руку. — Садись. Рассказывай. Ты, говорят, собрал маленький музей. Что же у тебя есть?

Я робко перечислил свои незамысловатые ценности. Черпунов усмехнулся.

— Похвально! — сказал он. — Приходи ко мне в воскресенье утром. Посмотришь мой музей. Допускаю, что коль скоро ты этим увлекаешься, то из тебя выйдет географ или путешественник.

— С мамой? — спросил я.

— Что с мамой?

— Прийти к вам с мамой?

— Нет, зачем же, приходи один. Мамы не понимают в географии.

В воскресенье я надел новенький гимназический костюм и пошёл к Черпунову. Он жил на Печёрске, в низеньком флигеле во дворе. Флигель так густо оброс сиренью, что в комнатах было темно.

Была поздняя осень, но сирень ещё не пожелтела. С листьев стекал туман. Внизу на Днепре трубили пароходы. Они уходили зимовать в затоны и прощались с Киевом.

Я поднялся на крыльцо и увидел вделанную в стену медную чашечку с круглой рукояткой от звонка. Я потянул рукоятку. Внутри флигеля пропел колокольчик.

Открыл мне сам Черпунов. На нём была серая тёплая куртка и войлочные туфли.

Чудеса начались тут же, в передней… В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист — я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстёгивал их и смотрел на раму от зеркала.

Это была не рама, а венок из стеклянных бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда.

— Венецианское стекло, — сказал Черпунов, помог мне

расстегнуть шинель, снял её и повесил на вешалку. — Посмотри поближе. Можешь даже потрогать.

Я осторожно прикоснулся к стеклянной розе. Стекло было матовое, будто присыпанное пудрой. В полоске света, падавшей из соседней комнаты, оно просвечивало красноватым огнём.

— Совсем как рахат-лукум[31], — заметил я.

— Глупо, но похоже на правду, — пробормотал Черпунов.

Я покраснел так, что у меня зажгло в глазах. Черпунов похлопал меня по плечу:

— Не обижайся. Это у меня такая поговорка. Ну, пойдём. Выпьешь с нами чаю.

Я начал отказываться, но Черпунов взял меня за локоть и повёл в столовую. Мы вошли в комнату, похожую на сад. Нужно было осторожно отводить листья филодендрона[32] и свисавшие с потолка ветки с красными пахучими шишками, чтобы добраться до своего места за столом. Веерная пальма нависала над белой скатертью. На подоконниках теснились вазоны с розовыми, жёлтыми и белыми цветами.

Я сел за стол, но тотчас вскочил. В столовую быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина с блестящими серыми глазами.

— Вот, Маша, — кивнул на меня Черпунов, — это тот гимназистик, про которого я рассказывал. Сын Георгия Максимовича. Конфузится, конечно.

Женщина протянула мне руку. Зазвенел браслет.

Она налила мне чаю с лимоном и пододвинула вазу с венскими булочками.

— Набирайтесь сил перед лекцией.

После чая Черпунов закурил папиросу. Пепел он стряхивал в раковину, покрытую окаменелой пеной нежнейшего розового цвета. Вторая такая же раковина стояла рядом.

— Это раковина из Новой Гвинеи[33], — заметил Черпунов.

— Ну, прощайте! — громко сказала молодая женщина, встала и вышла.

— Ну вот, — промолвил Черпунов, проводил её глазами, а потом показал мне на портрет на стене. Он изображал бородатого человека с измождённым лицом. — Ты знаешь, кто это? Один из лучших русских людей. Путешественник Миклухо-Маклай. Он был великий учёный и верил в добрую волю людей. Он жил один среди людоедов на Новой Гвинее. Безоружный, умирающий от лихорадки. Но он сумел сделать столько добра дикарям и проявить столько терпения, что, когда за ним пришёл наш корабль «Изумруд», чтобы увезти его в Россию, толпы дикарей плакали на берегу, протягивали к нему руки и кричали: «Маклай,

Маклай!» Так вот, запомни: добротой можно добиться всего.

— Вот раковина с острова, где жил Маклай, — продолжал Черпунов. — Если ты долго будешь смотреть на неё, то вдруг тебе придёт в голову, что как-то утром солнечный свет упал на эту раковину и так на ней и остался на вечные времена.

Я уставился на раковину. На минуту мне показалось, что я на самом деле уснул и вижу медленный восход солнца над прозрачными массами океанской воды и вспышки розовых лучей.

— Если ты прижмёшь раковину к уху, — говорил где-то далеко Черпунов, — то услышишь гул. Я не могу тебе объяснить, почему это происходит. И никто тебе этого не объяснит. Это тайна. Всё, что человек не может понять, называется тайной. Возьми, послушай, — предложил Черпунов.

Я прижал раковину к уху и услышал сонный шум, будто далеко-далеко набегали на берег равномерные волны.

— Ну что же, — сказал Черпунов, — продолжим нашу беседу, молодой человек. Вон там в углу стоят чёрные ящики. Принеси-ка сюда верхний ящик. Только неси осторожно.

Я взял ящик и поставил его на стол перед Черпуновым. Ящик оказался совсем лёгким.

Черпунов, не торопясь, открыл крышку. Я заглянул через его плечо и невольно вскрикнул. Огромная бабочка, больше, чем лист клёна, лежала в ящике на тёмном шелку и переливалась, как радуга.

— Не так смотришь! — рассердился Черпунов. — Надо вот так!

Он взял меня за макушку и начал поворачивать мою голову то вправо, то влево. Каждый раз бабочка вспыхивала разными цветами — то белым, то золотым, то пурпурным, то синим. Казалось, что крылья её горели чудесным огнём, но никак не сгорали.

— Редчайшая бабочка с острова Борнео! — с гордостью произнёс Черпунов и закрыл крышку ящика.

Потом Черпунов показал мне звёздный глобус, старые карты, чучела колибри с длинными, как маленькие шила, клювами.

— Ну, на сегодня довольно, — сказал Черпунов. — Ты устал. Можешь приходить ко мне по воскресеньям.

* * *

Жара стояла над землёй уже месяц. Взрослые говорили, что эту жару даже видно.

— Как это можно увидеть жару? — спрашивала всех Таня.

Тане было пять лет, и поэтому она каждый день узнавала от взрослых много интересных вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что «сколько ни проживёшь на свете, хоть триста лет, а всего не узнаешь».

— Пойдём наверх, я тебе покажу жару, — сказал Глеб. — Оттуда лучше видно.

Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин[34]. Там было светло и жарко от нагретой крыши. Ветки старого клёна упрямо лезли в окна. На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга и на дальний лес.

— Видишь жёлтый дым? Как от самовара. И весь воздух дрожит. Это и есть жара. Всё можно увидеть человеческим глазом. И жару, и холод. Что хочешь.

— А холод, когда снег? — спросила Таня.

— Нет. Даже летом можно его увидеть. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как он выглядит.

— А как?

— Небо вечером бывает зелёное, как мокрая трава. Холодное небо.

## Какие бывают дожди (*Отрывок из повести «Золотая роза»*)

…Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — всё это приметы дождя. А незадолго перед дождём, хотя ещё и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передаёт возникновение дождя, когда ещё редкие капли оставляют тёмные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится.

Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождём. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает»…

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льётся отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим

шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, ещё видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, жёлтые лисички, боровики́, румяные рыжики, опёнки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берёт хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие солнечные капли этого дождя похожи на крупные слёзы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесо́вой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряжённого гула, когда дождь льёт, как говорится, стеной.

Всё это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде…

## Кишата (*Из повести «Далёкие годы»*)

### *1*

Осенью 1902 года я должен был поступить в приготовительный класс Первой киевской гимназии. В ней учился мой средний брат, Вадим. После его рассказов я начал бояться гимназии, иногда даже плакал и просил маму оставить меня дома.

— Неужели ты хочешь быть экстерном? — испуганно спрашивала мама.

Экстернами назывались те мальчики, что учились дома и только каждый год сдавали экзамены при гимназии.

Со слов братьев я хорошо представлял себе кошмарную

судьбу этих экстернов. Их нарочно проваливали на экзаменах, всячески издевались над ними, требовали от них гораздо больше знаний, чем от обыкновенных гимназистов. Ниоткуда экстернам не было помощи. Им даже не подсказывали.

Я представлял себе этих истощённых от зубрёжки, заплаканных мальчиков с красными от волнения, оттопыренными ушами. Зрелище было жалкое. Я сдавался и говорил:

— Ну хорошо, я не буду экстерном…

Я не завидовал, как другие мальчики, тому, что киевские кадеты[35] носили белые погоны с жёлтыми вензелями и становились во фронт перед генералами. Не завидовал я и гимназистам, хотя их шинели из серого офицерского сукна, с серебряными пуговицами считались очень красивыми. С детства я был равнодушен ко всякой форменной одежде, кроме морской.

Когда осенью 1902 года я впервые надел длинные брюки и гимназическую курточку, мне было неловко, неудобно и я на время перестал чувствовать себя самим собой. Я стал для себя чужим мальчиком с тяжёлой фуражкой на голове. Я невзлюбил эти твёрдые синие фуражки с огромным гербом, потому что у всех моих товарищей — учеников приготовительного класса — всегда торчали из-под фуражек оттопыренные уши. Когда они снимали фуражку, уши у них делались обыкновенными. Но стоило им надеть фуражку, как уши тотчас оттопыривались. Будто нарочно для того, чтобы инспектор Бодянский, взяв приготовишку за ухо, мог сказать страшным своим голосом:

— Опять опоздал, мизерабль[36]! Становись в угол и думай о своей горькой судьбе!

Поэтому, как только мама купила мне фуражку, я, подражая старшим братьям, вытащил из неё маленький железный обруч и вырвал атласную подкладку. Такова была традиция — чем больше потрёпана фуражка, тем выше гимназическая доблесть. «Только зубрилы и подлизы ходят в новых фуражках», — говорили братья.

На фуражке полагалось сидеть, носить её в кармане и сбивать ею созревшие каштаны. После этого она приобретала тот боевой вид, который был гордостью настоящего гимназиста.

Мне купили ещё ранец с шелковистой спинкой из оленьей шкурки, пенал, тетради в клетку, тонкие учебники для приготовительного класса, и мама повела меня в гимназию.

Бабушка Викентия Ивановна в это время гостила у нас в Киеве. Она перекрестила меня и повесила мне на шею крестик на холодной цепочке. Трясущимися руками она расстегнула ворот моей чёрной курточки, засунула крестик мне под рубаху, отвернулась и прижала платок к глазам.

— Ну, иди! — сказала она глухим голосом и слегка оттолкнула меня. — Будь умным. Трудись!

Я ушёл с мамой. Всё время я оглядывался на наш дом, будто меня уводили из него навсегда…

## 2

…Мы вошли с мамой в здание гимназии. Широкая чугунная лестница, стёртая каблуками до свинцового блеска, вела вверх, где был слышен грозный гул, похожий на жужжание пчелиного роя.

— Не пугайся, — сказала мне мама. — Это большая перемена.

Мы поднялись по лестнице. Впервые мама не держала меня за руку. Сверху быстро спускались два старшеклассника. Они уступили нам дорогу. Один из них сказал мне в спину:

— Привели ещё одного несчастного кишонка!

Так я вступил в беспокойное и беспомощное общество приготовишек или, как их презрительно звали старые гимназисты, в общество кишат. Кишатами нас прозвали за то, что мы, маленькие и юркие, кишели и путались на переменах у взрослых под ногами…

Я сел за низенькую парту, изрезанную перочинным ножом. Мне было трудно дышать. Кисло пахло чернилами. Назаренко[37] диктовал: «Однажды Лебедь, Рак да Щука…»

За открытым окном на ветке сидел воробей и держал в клюве сухой лист клёна. Мне хотелось поменяться судьбой с воробьём. Воробей посмотрел через окно в класс, жалобно пискнул и уронил лист клёна.

— Новичок, — прогремел Назаренко, — достань тетрадь, пиши и не засматривайся по сторонам, если не хочешь остаться без обеда!

Я достал тетрадку и начал писать. Слеза капнула на промокашку. Тогда мой сосед, чёрный мальчик с весёлыми глазами, Эмма Шмуклер, шепнул:

— Проглоти слюну, тогда пройдёт.

Я проглотил слюну, но ничего не прошло. Я долго ещё не мог вздохнуть всей грудью.

Так начался первый гимназический год.

## 3

Против приготовительного класса был физический кабинет. В него вела узкая дверь. Мы часто заглядывали на переменах в этот кабинет. Там скамьи подымались амфитеатром[38] к потолку.

В физический кабинет водили на уроки старшеклассников. Мы, конечно, бились в коридоре у них под ногами, и это им, должно быть, надоело. Однажды один из старшеклассников, высокий бледный гимназист, протяжно свистнул. Старшеклассники тотчас начали хватать нас, кишат, и затаскивать в физический кабинет. Они рассаживались на скамьях и держали нас, зажав коленями.

Вначале нам это понравилось. Мы с любопытством рассматривали таинственные приборы на полках — чёрные диски, колбы и медные шары. Потом в коридоре затрещал первый звонок. Мы начали вырываться. Старшеклассники нас не пускали. Они крепко держали нас, а самым буйным давали так называемые «груши». Для этого надо было винтообразно и сильно ковырнуть большим пальцем по темени. Это было очень больно.

Зловеще затрещал второй звонок. Мы начали рваться изо всех сил, просить и плакать. Но старшеклассники были неумолимы. Бледный гимназист стал около двери.

— Смотри, — кричали ему старшеклассники, — рассчитай точно!

Мы ничего не понимали. Мы выли от ужаса. Сейчас будет третий звонок. Назаренко ворвётся в пустой приготовительный класс. Гнев его будет страшен. Реки наших слёз не смогут смягчить этот гнев.

Затрещал третий звонок. Мы ревели на разные голоса. Бледный гимназист поднял руку. Это значило, что в конце коридора появился физик. Он шёл неторопливо, с опаской прислушиваясь к воплям из физического кабинета.

Физик был очень толстый. Он протискивался в узкую дверь боком. На этом и был построен расчёт старшеклассников. Когда физик заклинился в дверях, бледный гимназист махнул рукой. Нас отпустили, и мы, обезумевшие, помчались, ничего не видя, не понимая и оглашая рыданиями физический кабинет, к себе в класс. Мы с размаху налетели на испуганного физика. На мгновение у двери закипел водоворот из стриженых детских голов. Потом мы вытолкнули физика, как пробку, из дверей в коридор, прорвались у него между ногами и помчались к себе. К счастью, Назаренко задержался в учительской комнате и ничего не заметил.

Старшеклассникам удалось всего раз проделать над нами эту предательскую штуку. Потом мы всегда были настороже. Когда старшеклассники появлялись в коридоре, мы тотчас прятались к

себе в класс, закрывали двери и загораживали их партами.

* * *

В Бергене всё было по-старому.

Всё, что могло приглушить звуки, — ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нём могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль.

Рояль мог петь обо всём — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и чёрные клавиши, убегая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине ещё долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сёстрами. Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок…

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Заржавленные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошёл снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык…

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с сияющими зелёными глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке.

«Спасибо!» — говорит она, сама ещё не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце, — говорит ей Григ. — Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на солнце расцвёл белый цветок и наполнил всё твоё существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всё без возврата. Потому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни…»

Григ думал так и играл обо всём, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается.

Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой.

Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щёлку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол.

Около её босых ног стояли хрустальные туфельки. Они вздрагивали, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из дома Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

* * *

В восемнадцать лет Дагни окончила школу.

По этому случаю отец отправил её… погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал её ещё девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжёлыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится…

Магда работала театральной портнихой. Муж её Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатушке под крышей театра. В комнате у тётушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шёлка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с чёрными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфортов с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потёртых на сгибе. Всё это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить…

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком для позолоты.

## Корзина с еловыми шишками

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около

Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается зелёными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живёт, как птица пересмешник, весёлое эхо. Оно только и ждёт, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину еловые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать всё золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал в горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла, — ответила девочка. — Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у неё зеленоватые и в них поблескивает огоньками листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами, — печально добавила Дагни. — У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь кряхтит.

— Слушай, Дагни, — сказал Григ, — я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно её ещё сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь, — строго спросила Дагни, — вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так, — неуверенно возразил он. — Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят маленьким детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью, — умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав. — И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с неё пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни», — подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты её едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чём-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжёлая. В еловых шишках много смолы, и поэтому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп, — ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдёте к нам? У нас есть вышитая скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять её в руки.

— Спасибо! Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошёл в сторону моря. Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из неё вываливались шишки.

«Я напишу музыку, — решил Григ. — На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим, тётушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс… сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но всё же тётушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт…

Был тёплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть своё единственное белое платье. Но Нильс сказал,

что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем, длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в чёрном и, наоборот, в тёмные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела чёрное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и её длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат…

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца…

Дагни впервые слушала симфоническую музыку. Она произвела на неё странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал её имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на неё, прижав ко рту платок, тётушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила её за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвящённая дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет.

Дагни вздохнула так глубоко, что у неё заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступившие к горлу слёзы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у неё шумела буря. Потом она наконец услышала, как поёт ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала траву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был её лес, её родина! Её горы, песни рожков, шум её моря!..

Стеклянные корабли пенили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке… Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет!

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила всё пространство между землёй и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась лёгкая рябь. Сквозь неё светили звёзды…

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту сторону, где солнце горит, как корона в волосах сказочной доброй волшебницы…

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом всё разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на неё. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы его за шею, прижалась мокрой от слёз щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю… — ответила бы Дагни. — За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек…»

## Наедине с осенью

Осень в этом году стояла — вся напролёт — сухая и тёплая. Берёзовые рощи долго не желтели. Долго не увядала трава. Только голубеющая дымка (её зовут в народе «мга») затягивала плёсы на Оке и отдалённые леса.

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать воду из звонкого стеклянного

сосуда в другой такой же сосуд.

Вода булькала, позванивала, журчала. Звуки эти заполняли всё пространство между рекой и небосводом. Это курлыкали журавли.

Я поднял голову. Большие косяки журавлей потянулись один за другим прямо к югу. Они уверенно и мерно шли на юг, где солнце играло золотом в затонах Оки.

Я бросил вёсла и долго смотрел на журавлей. По береговой просёлочной дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофёр остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на журавлей.

— Счастливо, друзья! — крикнул он и помахал рукой вслед птицам.

Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, должно быть, чтобы не заглушить затихающий небесный звон. Он открыл боковое стекло, высунулся и всё смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходящей в туман. И всё слушал плеск и переливы птичьего крика над опустелой по осени землёй.

## «Однажды ночью…»

…Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с открытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мёртвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошёл к окну — за стёклами всё было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг неё переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошёл к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа. Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожи́ла стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в саду. Ветка закачалась, с неё посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег всё сыпался, как стеклянный дождь, падающий с ёлки. Потом снова всё стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром всё хрустело вокруг: подмёрзшие дороги, листья на крыльце, чёрные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплёлся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты взял, Митрич, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто неверно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувши́на и потому никогда не вяла их красота.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озёра. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озёрах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах… Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось всё сумрачнее, всё тише, и наконец пошёл густой снег. Он таял в чёрной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса. Зима начала хозяйничать над землёй…

## Скрипучие половицы (*Отрывок*)

В этом рассказе говорится об одном случае из жизни замечательного русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Деревянный дом, в котором как-то летом гостил композитор, ему очень нравился. Долгие часы проводил П. И. Чайковский за роялем, сочиняя музыку, и порой ему казалось, что от этих звуков начинал петь весь старый, рассохшийся дом. И этот дом, и окружавший его лес, деревушки, просеки, заросли и заброшенная дорога — всё помогало композитору сочинять его прекрасную музыку, в которой он стремился выразить всю любовь к своей стране, её природе и людям.

Однажды старый Василий — лесник из соседней помещичьей усадьбы — принёс Петру Ильичу Чайковскому страшную весть о вырубке леса, окружавшего дом, в котором жил композитор.

## *1*

Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в весёлую даль, где лежало среди зарослей озеро. Там у композитора было любимое место — оно называлось Рудым Яром…

Это место казалось ему наилучшим выражением русской природы. Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побыв там, он вернётся — и живущая где-то внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельётся через край и хлынет потоками звуков.

Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил глаза.

Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вглядывался в него, видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не замечал этого?

С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.

На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки… И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже отбрасывают свет на подлесок и на траву — очень слабый, но такого же золотистого, розоватого тона.

И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены снизу голубоватым отблеском воды.

Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки. Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль и наспех записывать проигранное на листках нотной бумаги.

Чайковский быстро пошёл к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Её он прозвал «маяком». Она тихо шумела, хотя ветра и не было.

Он, не останавливаясь, провёл рукой по её нагретой коре.

## 2

Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошёл в маленький зал, запер дребезжащую дверь и сел к роялю.

Он играл… Он добивался ясности мелодии — такой, чтобы она была понятна и мила и Фене, и даже старому Василию, ворчливому леснику из соседней помещичьей усадьбы.

Он играл, не зная, что Феня принесла ему махотку земляники, сидит на крыльце, крепко сжимает загорелыми пальцами концы белого головного платка и, приоткрыв рот, слушает. А потом приплёлся Василий, сел рядом с Феней…

— Играет? — спросил, подымив цигаркой, Василий. — Прекратить, говоришь, нельзя?

— Никак! — ответил слуга и усмехнулся на необразованность лесника. — Он музыку сочиняет. Это, Василий Ефимыч, святое дело.

— Дело, конечно, святое, — согласился Василий. — А ты бы всё-таки доложил.

— И не просите. Надо же иметь понимание вещей.

— А мы, что ж, не понимаем? — рассердился Василий. — Ты, брат, охраняй, да в меру. Моё дело, ежели разобраться, поважнее, чем этот рояль.

— Ой! — вздохнула Феня и ещё туже затянула концы платка. — Весь бы день слухала!..

— Вот, — сказал с укором слуга, — девчонка босоногая и та чувствует! А ты протестуешь! Смыслу от тебя не добьёшься. И неизвестно, за каким ты делом пришёл.

— Я не в трактир[39] пришёл, — ответил бранчливо Василий. — Я к Петру Ильичу за советом пришёл.

Он снял шапку, поскрёб серые космы, потом нахлобучил шапку и сказал:

— Слыхали небось? Помещик мой не вытянул, ослаб. Весь лес продал…

— Кому продал?

— Харьковскому купцу Трощенке… Слыхал про такого?

— Купцов много, — уклончиво ответил слуга. — Ежли бы ещё он был московский…

— Повидал я купцов на своём веку каких хошь… Этот — с виду приличный господин. В золотых очках и бородка седенькая, гребешочком расчёсанная… В чесучовом пиджаке ходит. А в глаза, брат, не гляди — там пусто. Как в могиле. Приехал с ним приказчик, всё хвалится: «Мой, говорит, волкодав леса́ свёл по всей Харьковской и Курской губерниям. Сплошной рубкой. Он, говорит, к лесу злой — на семена ничего не оставит. На лесах

большие капиталы наживал». Думали, конечно, что врёт приказчик. А вышло на поверку, что не брешет приказчик. Купил Трощенко лес, рубаху ещё не сменил, а пригнал уже лесорубов и пильщиков. С завтрашнего дня лес начнут валить. Всё, говорят, велел пустить под топор до последней осины. Так-то.

— А тебе что? Твоя какая беда? Что велят, то и делай.

— Служишь ты у хорошего господина, — раздумчиво сказал Василий, — а душа у тебя, как гнилой орех. Щёлкнешь, в нём заместо ядра — белый червь… Как язык поворачивается такое спрашивать — мне-то что! Да я со своих двадцати годов к этому лесу приставлен. Я его растил, нянчил.

— Вона! — насмешливо сказал слуга.

— «Вона»! — передразнил его Василий. — А теперь что? Разбой! Да я ещё должен дерева к смерти метить. Нет, брат, совесть у меня не бумажная. Меня не купишь. Теперь одна путь — жаловаться.

— Кому? — спросил слуга. — Царю Гороху?

— Как кому? Губернатору. Земству. А не поможет — в суд!..

— Мечты! — вздохнул слуга и затоптал папироску. — С такими словами ты лучше к Петру Ильичу не приступай.

— Это мы ещё поглядим!

— Ну и сиди — дожидайся! — рассердился слуга. — Только имей в виду, что ежели он заиграется, так до ночи не выйдет.

— Небось выйдет! Ты меня не пугай. Я, брат, не из робких.

Слуга взял у Фени махотку с земляникой и ушёл в дом. Феня ещё долго сидела, пригорюнившись, смотрела перед собой удивлёнными глазами. Потом тихонько встала и, оглядываясь, пошла прочь по дороге. А Василий палил цигарки, скрёб грудь, ждал. Солнце уже перевалило к вечеру, от сосен пошли длинные тени, а музыка не затихала.

«Колдует! — подумал Василий, подняв голову, прислушался. — Господи, да ведь это как бы знакомое! Неужто наше, деревенское? «Среди долины ровныя»! Нет, не то. А схоже! Или то пастухи заиграли в лугах, скликая к вечеру стадо? Или то соловьи ударили сразу, будто сговорились, по окрестным кустам?..»

## *3*

Когда в окнах заполыхал багровый закатный огонь, музыка наконец оборвалась. Несколько минут было тихо. Потом скрипнула дверь. Чайковский вышел на крыльцо, достал из кожаного портсигара папиросу. Он был бледен, руки у него

дрожали.

Василий поднялся, шагнул к Чайковскому… стащил с головы выгоревший картуз, всхлипнул.

— Ты что? — быстро спросил Чайковский и схватил Василия за плечо. — Что с тобой, Василий?

— Спаси! — прохрипел Василий. — Мочи моей нету! Криком бы кричал, да никто не отзовётся. Помоги, Пётр Ильич, не дай случиться палачеству!

Василий прижал к глазам рукав застиранной синей рубахи. Он долго не мог ничего выговорить, сморкался, а когда наконец рассказал всё как есть, то даже оторопел: никогда он не видел Петра Ильича в таком гневе.

Всё лицо у Чайковского пошло красными пятнами. Обернувшись к дому, он крикнул:

— Лошадей!

На крыльцо выскочил испуганный слуга:

— Звали, Пётр Ильич?

— Лошадей! Вели закладывать.

— Куда ехать-то?

— К губернатору.

Чайковский плохо помнил эту ночную поездку. Коляску подбрасывало на выбоинах и корнях. Лошади всхрапывали, пугались. С неба падали звёзды. Холодом ударяло в лицо из заболоченных чащ…

«Успею ли? — думал Чайковский. — В крайнем случае разбужу. Завтра начнут валить лес. Что за подлость такая!»

## *4*

Губернатор отказался помочь композитору, потому что лес теперь принадлежал купцу Трощенко, который мог распоряжаться им по своему усмотрению. П. И. Чайковский рано утром поехал к купцу. Он хотел купить у него втридорога лес и таким образом спасти этот кусок земли.

В усадьбе Чайковский Трощенки не застал.

Уже рассвело. Весь усадебный двор зарос репейником. Среди репейника бегал по ржавой проволоке осипший пёс. Морда у него была в репьях, и пёс, немного полаяв, начинал тереть морду лапой, отдирая колючки.

На крыльцо вышел кривоногий человек в рыжих кудряшках. От него издали разило луком. Рыжий равнодушно посмотрел на коляску, на Чайковского и сказал, что Трощенко только что уехал на порубку.

— А вам он на что понадобился? — недовольно спросил рыжий. — Я ихний управитель.

Чайковский не ответил, дотронулся до спины кучера. Лошади с места взяли рысью…

По дороге обогнали лесорубов. Они шли с топорами, с гнущимися на плечах синеватыми пилами. Лесорубы попросили закурить и сказали, что Трощенко недалеко, на пятом квартале.

Около пятого квартала Чайковский остановил коляску, вышел и направился в ту сторону, где слышались голоса.

Трощенко, в сапогах и шляпе… ходил по лесу и сам метил топором сосны.

Чайковский подошёл, назвал себя. Трощенко спросил:

— Чем могу служить?

Чайковский коротко изложил своё предложение — перепродать ему на корню весь этот лес.

— Желаете округлить владения? — ласково спросил Трощенко. — Этому лесу цены нету. Слышите? — Трощенко ударил обухом топора по сосне. — Поёт древесина! А насчёт ваших слов надо подумать. Своего рода неожиданность. Всё дело, как сами понимаете, в цене. За свою цену я вам отдать не могу. Смысла нету…

— Назовите вашу цену. Торговаться я не собираюсь. Если цена будет сходная…

— Где вам торговаться! Вы человек возвышенных сфер жизни. Я вам верную цену скажу… — Трощенко помолчал. — Десять тысяч будет, пожалуй, самая цена…

— Хорошо! — сказал Чайковский и почувствовал холодок под сердцем, будто поставил на карту всю жизнь. — Я согласен…

— Деньги-то у вас есть? — вдруг грубо спросил Трощенко.

— Будут… Я вам выдам вексель[40].

— Подо что? Под эту усадебку? Да ей две тысячи — красная цена!

— Усадьба эта не моя. Вексель я выдам под свои сочинения.

— Так-с!.. — протянул Трощенко и закурил. — Под музыку!.. Её послушать, конечно, приятно. Послушал — ушёл, а следа-то и нету! — Он протянул к Чайковскому ладонь и поскрёб по ней скрюченными пальцами. — Воздушная вещь… Векселя я, извините, не беру. Только наличными.

— Наличных сейчас у меня нет.

— На нет и суда нет!..

Он поехал домой, стараясь не вслушиваться в разносившийся по лесу стук топоров.

Лошади вынесли коляску на поляну. Кто-то впереди предостерегающе закричал. Кучер с ходу осадил лошадей.

Чайковский встал, схватился за плечо кучера. От подножия сосны, согнувшись, как воры, разбегались лесорубы.

Внезапно вся сосна от корней до вершины вздрогнула и застонала. Чайковский явственно слышал этот стон. Вершина сосны качнулась, дерево начало медленно клониться к дороге и вдруг рухнуло, круша соседние сосны, ломая берёзы. С тяжким гулом сосна ударилась о землю, затрепетала всей хвоей и замерла. Лошади попятились и захрипели.

Это был миг, один только страшный миг смерти могучего дерева, жившего здесь двести лет. Чайковский стиснул зубы.

Вершина сосны загородила дорогу. Проехать было нельзя.

— Придётся ворочаться на большак, Пётр Ильич, — сказал кучер.

— Езжай! Я пешком пройду.

— Эх, обормоты! — вздохнул кучер, подбирая вожжи. — Рубить и то по-людски не умеют. Нешто дело — валить сначала большие деревья, а малые ломать в щепки? Ты сначала малые повали, тогда большое в просторе ляжет…

Чайковский подошёл к вершине поваленной сосны. Она лежала горой сочной и тёмной хвои… От её запаха першило в горле.

Тут же лежали обломанные сосной ветки берёз. Чайковский вспомнил, как берёзы пытались удержать падающую сосну, принять её на свои гибкие стволы, чтобы смягчить смертельное падение, — от него далеко окрест дрогнула земля.

Он быстро пошёл домой. То справа, то слева, то позади слышался гул падающих стволов. И всё так же тупо ухала земля. Птицы метались над порубкой. Даже облака, казалось, ускорили свой бег в равнодушной ко всему небесной синеве.

Чайковский всё ускорял шаги. Он почти бежал.

— Подлость! — бормотал он. — Мерзость чудовищная! Кто дал право человеку калечить и безобразить землю… Есть вещи, которые не оценить ни рублями, ни миллиардами рублей. Неужели так трудно понять… что могущество страны — не в одном материальном богатстве, но и в душе народа! Чем шире, свободнее эта душа, тем большего величия и силы достигает государство. А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! Её нужно беречь, как мы бережём самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения земли, надругательства над тем, что по праву принадлежит не

только нам, но и им.

Чайковский задыхался. Он уже не мог идти быстрее…

Значит, теперь он уже никогда не окончит начатую вчера работу. Придётся тотчас уехать, чтобы не видеть этого варварства.

Наступила разлука с любимыми местами.

## Стальное колечко (*Сказка*)

Дед Кузьма жил со своей внучкой Варюшей в деревушке Моховое, у самого леса.

Зима выдалась суровая, с сильным ветром и снегом. За всю зиму ни разу не потеплело и не закапала с тесовых крыш суетливая талая вода. Ночью в лесу выли продрогшие волки. Дед Кузьма говорил, что они воют от зависти к людям: волку тоже охота пожить в избе, почесаться и полежать у печки, отогреть заледенелую косматую шкуру.

Среди зимы у деда вышла махорка. Дед сильно кашлял, жаловался на слабое здоровье и говорил, что если бы затянуться разок-другой — ему бы сразу полегчало.

В воскресенье Варюша пошла за махоркой для деда в соседнее село Переборы. Мимо села проходила железная дорога. Варюша купила махорки, завязала её в ситцевый мешочек и пошла на станцию посмотреть на поезда. В Переборах они останавливались редко. Почти всегда они проносились мимо с лязгом и грохотом.

На платформе сидели два бойца. Один был бородатый, с весёлым серым глазом. Заревел паровоз. Было уже видно, как он, весь в пару, яростно рвётся к станции из дальнего чёрного леса.

— Скорый! — сказал боец с бородой. — Смотри, девчоночка, сдует тебя поездом. Улетишь под небеса.

Паровоз с размаху налетел на станцию. Снег завертелся и залепил глаза. Потом пошли перестукиваться, догонять друг друга колёса. Варюша схватилась за фонарный столб и закрыла глаза: как бы и вправду её не подняло над землёй и не утащило за поездом. Когда поезд пронёсся, а снежная пыль ещё вертелась в воздухе и садилась на землю, бородатый боец спросил Варюшу:

— Это что у тебя в мешочке? Не махорка?

— Махорка, — ответила Варюша.

— Может, продашь? Курить большая охота.

— Дед Кузьма не велит продавать, — строго ответила Варюша. — Это ему от кашля.

— Эх ты, цветок-лепесток в валенках! Больно серьёзная!

— А ты так возьми сколько надо, — сказала Варюша и протянула бойцу мешочек. — Покури!

Боец отсыпал в карман шинели добрую горсть махорки, скрутил толстую цигарку, закурил, взял Варюшу за подбородок и посмотрел, посмеиваясь, в её синие глаза.

— Эх ты, — повторил он, — анютины глазки с косичками! Чем же мне тебя отдарить? Разве вот этим?

Боец достал из кармана шинели маленькое стальное колечко, сдул с него крошки махорки и соли, потёр о рукав шинели и надел Варюше на средний палец:

— Носи на здоровье! Этот перстенёк совершенно чудесный. Гляди, как он горит!

— А отчего он, дяденька, такой чудесный? — спросила, раскрасневшись, Варюша.

— А оттого, — ответил боец, — что, ежели будешь носить его на среднем пальце, принесёт он здоровье. И тебе и деду Кузьме. А наденешь его вот на этот, на безымянный, — боец потянул Варюшу за озябший, красный палец, — будет у тебя большущая радость. Или, к примеру, захочется тебе посмотреть белый свет со всеми его чудесами. Надень перстенёк на указательный палец — непременно увидишь!

— Будто? — спросила Варюша.

— А ты ему верь, — прогудел другой боец из-под поднятого ворота шинели. — Он колдун. Слыхала такое слово?

— Слыхала.

— Ну то-то! — засмеялся боец. — Он старый сапёр. Его даже мина не брала!

— Спасибо! — сказала Варюша и побежала к себе в Моховое.

Сорвался ветер, посыпался густой-прегустой снег. Варюша всё трогала колечко, повёртывала его и смотрела, как оно блестит от зимнего света.

«Что же боец позабыл мне сказать про мизинец? — подумала она. — Что будет тогда? Дай-ка я надену колечко на мизинец, попробую».

Она надела колечко на мизинец. Он был худенький, колечко на нём не удержалось, упало в глубокий снег около тропинки и сразу нырнуло на самое снежное дно.

Варюша охнула и начала разгребать снег руками. Но колечка не было. Пальцы у Варюши посинели. Их так свело от мороза, что они уже не сгибались.

Варюша заплакала. Пропало колечко! Значит, не будет теперь здоровья деду Кузьме, и не будет у неё большущей радости, и не увидит она белый свет со всеми его чудесами. Варюша воткнула в снег, в том месте, где уронила колечко, старую еловую ветку и пошла домой. Она вытирала слёзы варежкой, но они всё равно набегали и замерзали, и от этого было колко и больно глазам.

Дед Кузьма обрадовался махорке, задымил всю избу, а про колечко сказал:

— Ты не горюй, дурочка! Где упало — там и валяется. Ты Сидора попроси. Он тебе сыщет.

Старый воробей Сидор спал на шестке, раздувшись, как шарик. Всю зиму Сидор жил в избе у Кузьмы самостоятельно, как хозяин. С характером своим он заставлял считаться не только Варюшу, но и самого деда. Кашу он склёвывал прямо из мисок, а хлеб старался вырвать из рук и, когда его отгоняли, обижался, ёршился и начинал драться и чирикал так сердито, что под стреху́ слетались соседские воробьи, прислушивались, а потом долго шумели, осуждая Сидора за его дурной нрав. Живёт в избе, в тепле, в сытости, всё ему мало!

На другой день Варюша поймала Сидора, завернула в платок и понесла в лес. Из-под снега торчал только самый кончик еловой ветки. Варюша посадила на ветку Сидора и попросила:

— Ты поищи, поройся! Может, найдёшь!

Но Сидор скосил глаза, недоверчиво посмотрел на снег и пропищал:

«Ишь ты! Ишь ты! Нашла дурака. Ишь ты, ишь ты!» — повторил Сидор, сорвался с ветки и полетел обратно в избу.

Так и не отыскалось колечко.

Дед Кузьма кашлял всё сильнее. К весне он залез на печку. Почти не спускался оттуда и всё чаще просил попить. Варюша подавала ему в железном ковшике холодную воду.

Метели кружились над деревушкой, заносили избы. Сосны завязли в снегу, и Варюша уже не могла отыскать в лесу то место, где уронила колечко. Всё чаще она, спрятавшись за печкой, тихонько плакала от жалости к деду и бранила себя…

Однажды утром Варюша проснулась оттого, что Сидор прыгал по оконцу и стучал клювом в стекло. Варюша открыла глаза и зажмурилась. С крыши, перегоняя друг друга, падали длинные капли. Горячий свет бил в оконце. Орали галки.

Варюша выглянула на улицу. Тёплый ветер дунул ей в глаза, растрепал волосы.

— Вот и весна! — сказала Варюша.

Блестели чёрные ветки, шуршал, сползая с крыш, мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна шла по полям как молодая хозяйка. Стоило ей только посмотреть на овраг, как в нём тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьёв с каждым её шагом становился громче и громче.

Снег в лесу потемнел. Сначала на нём выступила облетевшая за зиму коричневая хвоя. Потом появилось много сухих сучьев —

их наломало бурей ещё в декабре, — потом зажелтели прошлогодние палые листья, проступили проталины и на краю последних сугробов зацвели первые цветы мать-и-мачехи.

Варюша нашла в лесу старую еловую ветку — ту, что воткнула в снег, где обронила колечко, и начала осторожно отгребать старые листья, пустые шишки, накиданные дятлами, ветки, гнилой мох. Под одним чёрным листком блеснул огонёк. Варюша вскрикнула и присела. Вот оно, стальное колечко! Оно ничуть не заржа́вело.

Варюша схватила его, надела на средний палец и побежала домой.

Ещё издали, подбегая к избе, она увидела деда Кузьму. Он вышел из избы, сидел на завалинке, и синий дым от махорки поднимался над дедом прямо к небу, будто Кузьма просыхал на весеннем солнышке и над ним курился пар.

— Ну вот, — сказал дед, — ты, вертушка, выскочила из избы, позабыла дверь затворить, и продуло всю избу лёгким воздухом. И сразу болезнь меня отпустила. Сейчас вот покурю, возьму колун, наготовлю дровишек, затопим мы печь и спечём ржаные лепёшки.

Варюша засмеялась, погладила деда по косматым серым волосам, сказала:

— Спасибо колечку! Вылечило оно тебя, дед Кузьма.

Весь день Варюша носила колечко на среднем пальце, чтобы накрепко прогнать дедовскую болезнь. Только вечером, укладываясь спать, она сняла колечко со среднего пальца и надела его на безымянный. После этого должна была случиться большущая радость. Но она медлила, не приходила, и Варюша так и уснула, не дождавшись.

Встала она рано, оделась и вышла из избы.

Тихая и тёплая заря занималась над землёй. На краю неба ещё догорали звёзды. Варюша пошла к лесу. На опушке она остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит колокольчики?

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками: белые подснежники чуть-чуть качались, кивали заре, и каждый цветок позванивал, будто в нём сидел маленький жук кузька-звонарь и бил лапкой по серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел — пять раз.

«Пять часов! — подумала Варюша. — Рань-то какая! И тишь!»

Тотчас высоко на ветвях в золотом зоревом свете запела иволга.

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала, улыбаясь. Её обдало сильным, тёплым, ласковым ветром, и что-то прошелестело

рядом. Закачалась лещина, из ореховых серёжек посыпалась жёлтая пыльца. Кто-то прошёл невидимый мимо Варюши, осторожно отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась кукушка.

«Кто же это прошёл? А я и не разглядела!» — подумала Варюша.

Она не знала, что мимо неё прошла весна.

Варюша засмеялась громко, на весь лес, и побежала домой. И большущая радость — такая, что не охватишь руками, — зазвенела, запела у неё на сердце.

Весна разгоралась с каждым днём всё ярче, всё веселей. Такой свет лился с неба, что глаза у деда Кузьмы стали узкие, как щёлки, но всё время посмеивались. А потом по лесам, по лугам, по оврагам сразу, будто кто-то брызнул на них волшебной водой, зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.

Варюша думала было надеть перстенёк на указательный палец, чтобы повидать белый свет со всеми его чудесами, но посмотрела на все эти цветы, на липкие берёзовые листочки, на ясное небо и жаркое солнце, послушала перекличку петухов, звон воды, пересвистывание птиц над полями — и не надела перстенёк на указательный палец.

«Успею, — подумала она. — Нигде на белом свете не может быть так хорошо, как у нас в Моховом. Это же прелесть что такое! Не зря ведь дед Кузьма говорит, что наша земля — истинный рай и нету другой такой хорошей земли на белом свете!»

# Пермяк Евгений Андреевич (1902–1982)

## Мама и мы

Обо всём своём детстве говорить недели, пожалуй, мало будет. А так, кое-что — пожалуйста. Вот, например, случай был…

Мы задержались в школе, потому что заканчивали выпуск стенной газеты. Когда мы вышли, уже смеркалось. Было тепло. Падал крупный, пушистый снег. Видимо, поэтому Тоня и Лида дорогой танцевали танец снежинок. Мой младший брат, ожидавший меня, чтобы идти вместе, подсмеивался над ними:

— Скачут, как первоклассницы!

Снег падал всё гуще и гуще. Танцевать стало нельзя. Снегу навалило до половины валенка.

— Не заблудиться бы! — предупредил нас на правах самого дальновидного мой младший братец.

— Да ну тебя, трусишка! — отозвалась Лида. — Через пятнадцать минут будем дома.

Снегопад между тем усиливался. Забеспокоился и я, зная, как жестоки наши степные сибирские метели. Случалось, что люди теряли дорогу, находясь близ своего дома. Я посоветовал прибавить ходу, но этого сделать уже было нельзя по глубокому слою снега, покрывшему дорогу.

Стало ещё темнее. Наступила какая-то белая снежная темнота. А потом началось то, чего я опасался. Снежинки вдруг закружились… Закружились в таком танце, что через несколько минут началась настоящая пурга, вскоре перешедшая в большой буран.

Девочки закутали лица платками. Мы с Федей опустили у шапок уши. Узенькая дорожка, которая вела в наше сельцо, то и дело исчезала под ногами. Я шел первым, стараясь не потерять под ногами дорожный накат. До дому оставалось менее версты. Я верил, что мы выберемся благополучно.

Напрасно.

Дорога исчезла. Будто её из-под ног украл кто-то очень недобрый из сказки моей бабушки. Может быть, Шальная Метелица… может быть, злой старик Буран Буранович.

— Вот, я же говорил! — упрекнул нас Федя.

Лида ещё бодрилась, а Тоня почти плакала. Она уже побывала в пурге со своим отцом. Она ночевала в снежной степи. Но тогда в санях был запасной тёплый тулуп, и Тоня, укрытая им, благополучно проспала ночь. А теперь?

Теперь мы уже выбивались из сил. Я не знал, что делать дальше. Снег таял на моем лице, и лицо от этого обледеневало. Ветер свистел на все лады. Чудились волки.

И вдруг в вое ветра я услышал спокойный голос матери:

«Кого ты испугался? Пурги? Тебе хочется кричать?! Кто тебя услышит при таком ветре! Может быть, ты надеешься, что вас найдут собаки? Зря. Какая собака пойдет в степь при такой погоде! У тебя осталось только одно: зарыться в снег».

Я так отчётливо слышал голос моей матери, отлично зная, что маминым голосом я разговариваю сам с собой, в моём воображении. И я сказал:

— Мы сбились с дороги. Мы можем выбиться из сил и замерзнуть. Давайте зарываться в снег, как это делают кочевники.

Видимо, я объявил об этом так твёрдо, что никто не возразил мне. Только Тоня плачущим голосом спросила:

— А как?

И я ответил:

— Так же, как куропатки.

Сказав так, я первым начал рыть колодец в глубоком февральском снегу. Я его начал рыть сначала школьной сумкой, но сумка оказалась толста; тогда я вынул из сумки географический атлас в прочном картонном переплёте. Дело пошло быстрее. Меня сменил брат, потом Тоня.

Тоня даже развеселилась:

— Тепло как! Попробуй, Лидочка. Разогреешься.

И мы стали поочередно рыть колодец в снегу. После того как колодец достиг нашего роста, мы стали прорывать пещерку в его снежном боку. Когда метель заметет колодец, мы окажемся под снежной крышей вырытой пещерки.

Вырыв пещерку, мы стали размещаться в ней. Ветер вскоре замёл снегом колодец, не задувая в пещерку. Мы оказались под снегом, как в норе. Будто тетерева. Ведь и они, бросаясь с дерева в сугроб и «утонув» в нём, потом проделывают подснежные ходы и чувствуют себя там самым великолепным образом.

Усевшись на школьные сумки, согревая своим дыханием маленькое пространство нашей каморки, мы почувствовали себя довольно уютно. Если бы ко всему этому ещё оказался огарок свечи, мы могли бы видеть друг друга.

У меня был с собой кусок свиного сала, оставшийся от завтрака. И, если бы были спички, я бы сделал фитиль из носового платка, и у нас бы появился светильник. Но спичек не было.

— Ну вот, мы и спаслись, — сказал я.

Тут Тоня неожиданно объявила мне:

— Коля, если ты захочешь, я подарю тебе моего Топсика.

Топсиком назывался ручной суслик.

Суслик мне был не нужен. Я ненавидел сусликов. Но мне было очень приятно Тонино обещание. Я понимал, чем вызван этот щедрый порыв души. Да и все понимали. Не зря же Лида сказала:

— Ты, Николай, теперь у нас сила! Мужчина!

В её голосе я снова услышал голос мамы. Видимо, в каждой женщине, даже если ей всего только двенадцать лет, есть какая-то материнская хитринка, подбадривающая мужчину, если этому мужчине тоже только двенадцать лет.

Я почувствовал себя в самом деле сильным и стал рассказывать бабушкины сказки. Я их стал рассказывать потому, что боялся уснуть. А когда я усну — уснут и остальные. А это было опасно. Можно замерзнуть. Одну за другой я рассказал, наверное, тридцать, а может быть, и больше сказок. Когда же вышел весь запас бабушкиных сказок, я стал придумывать свои. Но, видимо, придуманные мною сказки были скучными. Послышался легкий храпоток.

— Кто это?

— Это Тоня, — ответила Лида. — Она уснула. Мне тоже хочется спать. Можно? Я вздремну только одну минуточку.

— Нет, нет! — запретил я. — Это опасно. Это смертельно опасно.

— Почему же? Смотри, как тепло!

Тут я нашёлся и соврал так удачно, что после этого никто не пожелал даже дремать. Я сказал:

— Волки нападают на спящих. Они только того и ждут, чтобы услышать, как храпит человек.

Сказав так, я привел уйму случаев, выдумываемых мною с такой быстротой, что даже не верится сейчас, как это я мог…

Теперь рассказывали другие. По очереди.

Время шло медленно, и я не знал, полночь сейчас или, может быть, уже брезжит рассвет. Колодец, вырытый нами, давно замела пурга.

Пастухи-кочевники, оказываясь в таком же положении, выставляли из снега высокий шестик. Они специально брали его в степь на случай бурана, чтобы потом их можно было найти, отрыть.

У нас не было шеста, и нам не на что было надеяться. Только на собак. Но и они бы не учуяли нас сквозь толщу снега.

Моё сало давно было разделено и съедено, как и Лидин ломоть хлеба.

Всем казалось, что уже наступило утро, и хотелось верить,

что пурга кончилась. А я боялся прорываться наверх. Это значило забить снегом пещерку, вымокнуть и, может быть, очутиться снова в белой снежной мгле. Но каждый из нас понимал, какое беспокойство мы причинили всем. Нас, может быть, ищут, кличут в степи… И я представил свою маму, которая кричит сквозь ветер:

«Колюнька… Федюнька… Отзовитесь!..»

Подумав об этом, я стал прорываться наверх. Снежная крыша над нами оказалась не столь толста. Мы увидели бледнеющую луну и гаснущие звёзды. Занималась какая-то сонливая, словно невыспавшаяся, бледная заря.

— Утро! — крикнул я и стал проделывать ступени в снегу, чтобы выбраться остальным.

С неба сыпались запоздалые снежинки. Я сразу же увидел наш ветряк. Дым из труб поднимался тонкими, будто туго натянутыми струнами. Люди проснулись. А может быть, они и не спали в эту ночь…

Вскоре мы увидели наших ребят. Они обрадованно бежали к нам и кричали:

— Живые! Все четверо! Живые!

Мы бросились к ним навстречу. Я не стал медлить и слушать, что рассказывали об этой ночи, обо мне Тоня и Лида. Я побежал к нашему домику.

Саней на дворе не было — значит, отец ещё не вернулся. Открыв дверь, далеко оставив за собой Федюньку, я бросился к маме. Бросился и… что было, то было… и заплакал.

— Да о чём ты? — спросила мать, утирая мне слёзы передником.

И я сказал:

— О тебе, мама… Ты, наверное, голову потеряла без нас.

Мать усмехнулась. Освободилась из моих объятий и подошла к кроватке Леночки. Это наша младшая сестра. Подошла и поправила одеяльце. И сказала ей: «Спи». Хотя та и без того спала и одеяльце незачем было поправлять. Потом она подошла к подоспевшему Федюньке и спросила:

— Валенки не промокли?

— Нет, — ответил он. — Под валенками атлас был. Полушубок вот подмок. Есть я хочу…

— Переобувайтесь да живо за стол, — сказала мать, ничего не спросив о минувшей ночи.

«Да любит ли она нас? — впервые подумал я. — Любит ли? Может, эта ревунья Леночка у неё один свет в глазу?»

Когда мы съели по две тарелки горячих щей, мать сказала:

— Я постлала, ложитесь. В школу не пойдёте. Нужно выспаться.

Я не мог уснуть, а спать хотелось. Я пролежал до полудня в тёмной горнице, с закрытыми ставнями.

Нас позвали обедать. Приехал отец. Он уже знал всё от Лиды и Тони. Он хвалил меня. Обещал мне купить маленькое, но настоящее ружье. Он удивлялся моей находчивости.

А мать?..

Мать сказала:

— Парню тринадцатый год. И смешно было бы, если бы он растерялся в метель да себя с товарищами не спас.

— Анюта!.. — укоризненно заметил отец матери.

А мама перебила отца и сказала:

— Ешь давай! Каша стынет. Хватит разговоры разговаривать! За уроки им браться надо. Ночь пробродяжничали, день потеряли…

После обеда Тоня принесла мне Топсика. Я не взял его. Лидина мать, Марфа Егоровна, явилась с большим гусаком и, низко поклонившись матери, сказала:

— Спасибо тебе, Анна Сергеевна, что такого сына вырастила! Двух девок спас. У Тоньки-то сёстры есть, а Лидка-то ведь у меня одна…

Когда Марфа Егоровна кончила свои причитания, мама сказала:

— Как тебе не стыдно, Марфа, моего недотепу Кольку героем выставлять! — И, повернувшись, наотрез отказалась взять гусака.

Вечером мы остались с бабушкой вдвоём. Мать ушла на станцию, к фельдшеру. Сказала, что угорела — болит голова.

С бабушкой мне всегда было легко и просто.

Я спросил её:

— Бабушка, хоть ты скажи мне правду: за что нас так не любит мать? Неужели мы в самом деле такие нестоящие?

— Дурень ты, больше никто! — ответила бабушка. — Мать всю ночь не спала. Ревела как умалишенная. С собакой по степи вас искала. Колени обморозила… Только ты ей, смотри, об этом ни гугу! Какова она есть, такую и любить надо. Я её люблю…

Вскоре вернулась мать. Она сказала бабушке:

— Фельдшер дал порошки от головы. Говорит, чепуха. Через месяц пройдёт.

Я бросился к матери и обнял её ноги. Сквозь толщу юбок я почувствовал, что её колени забинтованы. Но я даже не подал виду. Я никогда ещё не был так ласков с нею. Я никогда ещё так не любил свою мать. Обливаясь слезами, я целовал её обветренные руки.

А она всего лишь, как бы между прочим, будто телёнка, погладила меня по голове и ушла, чтобы лечь. Видимо, стоять ей

было трудно.

В холодной холе растила и закаливала нас наша любящая и заботливая мать. Далеко смотрела она. И худого из этого не получилось. Федюнька теперь дважды Герой. И про себя я кое-что мог бы сказать, да матерью строго-настрого завещано как можно меньше говорить о себе.

## Некрасивая ёлка

В датском говорящем лесу росли датские говорящие деревья. Они разговаривали только по-датски.

В жаркие солнечные дни, изнемогая от зноя, деревья перешептывались друг с другом так тихо, что даже чуткие птицы не могли разобрать, о чем они шепчутся. Зато как только поднимался ветер, в лесу начинался такой шумный разговор, что его без труда мог услышать всякий.

Самой болтливой в лесу была Осина. Её голос, звенящий одиннадцатью тысячами листочков, не умолкал и в полдень. Осина любила позлословить, как, впрочем, и Берёза. А Ёлка наоборот. Ёлка была на редкость молчалива и задумчива. Она в отличие от своих стройных и красивых сестёр росла не очень красивой. Даже, скажем прямо, совсем некрасивой: однобокой и кривой.

Ёлку не любили её лесные собратья, хотя ни одному из них она не сделала ничего дурного. Она не затеняла им солнца, не лишала их влаги, не шелестела, как Дуб или Ясень. Вообще она вела себя очень скромно. Но деревья усвоили отвратительную манеру отношения друг к другу — по внешности. По одежке. По красоте ветвей и строению кроны. А Ёлка была дурнушкой. Это и послужило поводом для насмешек самовлюбленного Ясеня, молодого красавца Клёна и Берёзы с изысканно тонкими ветвями.

Не любили они Ёлку и потому, что ей оказывал особое внимание Сказочник, пользовавшийся большим уважением в лесу. Он часто садился под елью со своими тетрадями и писал сказки или задумчиво мечтал.

Почему он предпочитал именно её тень, никто не знал, но болтали в лесу разное.

Ясень говорил, что Сказочник, так же как и Ёлка, одинок, некрасив и долговяз. Клён находил, будто Ёлка специально для Сказочника осыпает мягкие иглы, чтобы ему было удобнее сидеть под нею. Берёза городила такое, что лучше не повторять этого. И вообще мы не должны брать на себя роль Ветра, который разносит нелепые лесные слухи. К тому же нам давно пора приступить к главному и начать с того, как в лес однажды

пришли лесорубы и срубили старый Дуб и как в лесу раздался громкий плач. Плакали дети, внуки, племянники и друзья старого Дуба.

Им казалось, что уже всё кончено. И особенно после того, как старый Дуб был распилен на кряжи и увезён из леса.

Когда дубовая родня оплакивала свежий пень, появился Сказочник. Ему тоже было жаль, что в лесу не стало зелёного богатыря, трехсотлетнего Дуба. И его слеза капнула на срез пня.

Но слезы никогда не помогают горю. Зная об этом, он решил рассказать сказку о том, во что иногда превращаются деревья, когда их увозят из леса.

— Господа, — сказал он по-датски, обращаясь к деревьям, — не угодно ли вам прослушать сказку о вашем завтрашнем дне?

В говорящем лесу стало тихо. Деревья насторожили свои листья и стали слушать.

— Никому из вас, как, впрочем, и мне, — начал Сказочник, — не хочется покидать этот прекрасный лес. Но не все, уходя из него, перестают жить. Не все, оказавшись срубленными, умирают.

Лес зашумел и насупился. Начало сказки деревьям показалось не более чем утешительным враньём.

Сказочник подал знак. В лесу стало снова тихо.

— А известно ли вам, господа, что Дуб проживёт еще сотни и сотни лет, когда он станет дубовым резным потолком библиотеки? А он станет именно им. Так ли уж плохо это, господа деревья?

Деревья одобрительно зашелестели. Теперь Сказочник, завладев вниманием слушающих, спокойно уселся на золотой ковер мягкой еловой осыпи и стал говорить о том, как снова придут в лес лесорубы и спилят созревшие деревья, не давая им сгнить на корню и превратиться в ничто. Спиленные деревья станут домом, мостом, музыкальными инструментами, мебелью или паркетным полом, чтобы жить и служить поколениям.

— Так ли уж это плохо, господа? — сказал он и продолжил сказку о том, как одна мечтательница Сосна превратилась в корабельную мачту и побывала в Индии, Китае, на Курильских островах… Стал рассказывать, как одна Осина стала тридцатью тремя корытами.

— Превращение в корыта хотя и не так заманчиво, — сказал он, — но все же стать корытом лучше, чем никем, ничем и ни для кого.

— Это верно, — заметила слегка обиженная Осина, — превратиться в корыта куда приятнее, нежели стать дровами. Да, дровами, — повторила она, покосившись на некрасивую Ёлку и окидывая её неприязненным взглядом от корня до вершины.

Заметив этот взгляд, самовлюбленный Ясень спросил Сказочника:

— А почему бы вам не рассказать о еловых дровах?

— Вот именно, — поддержал надменный Клён. — Это бы вселило радужные надежды одной нашей общей знакомой.

Сказочник смутился. Ему не хотелось огорчать некрасивую Ёлку. Он любил её. Он жалел её. Но правда выше любви и жалости.

— Господа, — тихо сказал Сказочник, — разве уж так плохо сгореть для других? Ведь должен же кто-то своим огнем радовать детей и согревать их в зимнюю стужу. Должен же кто-то выпекать хлебы и плавить металл.

— Да, конечно, конечно, господин Сказочник, кто-то должен это делать, — подтвердил Ясень. — Но согласитесь, что все-таки лучше стать полированным столом или буфетом, нежели золой и пеплом.

— Хотя, — усмехнулась Берёза, — зола тоже на что-то нужна. Ею, кажется, чистят кастрюли и посыпают тротуары. Так ли уж это плохо, господа? — прошелестела она, издевательски повторяя фразу Сказочника.

Деревья дружно захохотали.

Сказочник снова умолк, а затем, коснувшись рукой Ели, сказал в раздумье:

— Впрочем, никто не знает, как может повернуться судьба. Одни, собираясь жить в веках, забываются ранее, чем увядают цветы на их могилах. Другие, живя скромно и тихо, ни на что особенное не рассчитывая, не думают о бессмертии, а оно, несмотря на это, приходит само. Не отчаивайтесь, некрасивая Ёлка! Как знать, может быть, всё будет по-другому.

С тех пор прошло много лет. Деревья выросли и возмужали. Под некрасивой Ёлкой жили муравьи. Сказочник давно уже не появлялся в лесу, и, как сообщил Ветер, Ель больше никогда не укроет его прохладной и ласковой тенью своих ветвей. Два лесоруба — Время и Возраст — сделали своё дело.

— М-да! — сказал Ясень. — Хотя он и ярко горел… хотя нам от него было тепло и радостно, все же он сгорел, как сгорают дрова.

— Вот именно, — подтвердил Клён, ставший ещё выше и надменнее. — Если выражаться образно, то он был среди людей не более чем некрасивая Ёлка. То ли дело мы! Мы — ценные деревья. Мы можем превратиться во что угодно: и в спальню королевы, и в трон короля.

Ёлка молча слушала хвастливые, самодовольные рассуждения, и тонкие струйки смолы катились по её шершавой

коре. Ёлка не переставала верить, что она встретится со Сказочником и услышит знакомые слова любимых сказок.

Но напрасно. С ним можно было теперь встречаться только во сне. Поэтому Ёлка часто дремала, надеясь увидеть золотой сон. А он не приходил. Зато пришли лесорубы.

Лесорубы спилили созревшие деревья, и каждое из них получило свое назначение. У поваленной Сосны обрубили ветки и верхушку, затем доставили её на корабельную верфь. Она будет мачтой.

Ясень, Клён и Берёза были отправлены на мебельную фабрику. Осину предназначили для корыт.

Дошла очередь и до некрасивой Ёлки. Её распилили на мелкие чурбаки.

«Так и есть, — подумала Ёлка, — я стала дровами. Теперь мне только остается сгореть так же ярко, как сгорели вы, дорогой друг, озаряя нас волшебным светом своих сказок».

Готовясь отправиться в топку котла или камина, Ёлка забыла слова Сказочника о том, что «никто не знает, как может повернуться судьба».

Судьба Ёлки повернулась самым неожиданным образом. Ёлка попала на бумажную фабрику и превратилась в ослепительно белые, тонкие, плотные листы бумаги.

Теперь перед нею открылись тысячи возможностей. Она могла стать конвертами и совершать на всех видах транспорта почтовые путешествия. Она могла оказаться газетой или географической картой. Она могла стать нарядной театральной афишей и зазывать людей на представление.

Мало ли куда идет бумага… Но не будем, однако, строить предположения. Всё оказалось куда лучше, чем может нарисовать самое пылкое воображение.

Ёлку отправили в типографию, и там она стала превращаться в книгу. В какую? Книга книге рознь. А она стала превращаться в прекрасную книгу сказок. Это она почувствовала тотчас, как на ней появились чётко отпечатанные блестящей чёрной краской дорогие её сердцу слова…

Это были сказки, слышанные ею в дни юности в говорящем лесу.

— Неужели мы с вами встретились снова? — сказала Ёлка, ставшая бумагой, и увидела Сказочника.

Он появился на первой странице — отпечатанным великолепными портретными красками.

— Теперь я вижу, — сказала она, — что не все, оказавшись срубленными, умирают. Мы стали жить с вами книгой сказок.

Искусные руки переплётчика стали одевать книгу в нарядную

одежду с золотой отделкой и затейливым тиснением.

Как она красива была теперь! На неё можно было любоваться часами, читать и слушать сутками напролет. Её бережно брали и очень осторожно листали. Сказки смешили и радовали. Сказки учили мудрости, возвышали души, согревали сердца, будили ненависть к злу и утверждали светлое.

Вскоре Ёлка, став книгой, очутилась на серебристой берёзовой полке в самом лучшем ясеневом шкафу библиотеки.

Она сразу узнала этот шкаф. Он оказался таким же самовлюбленным, каким рос в сказочном говорящем лесу. Ясеневый шкаф очень громко хвалился своей новой жилицей на центральной полке:

— Видишь ли ты, Кленовый стол, какое сокровище живет во мне?

— Да, — ответил Кленовый стол. — Какие мы благородные деревья!

— Как бы позавидовала нам та некрасивая Ёлка, — обрадовалась Берёзовая полка, — как бы позавидовала она, если б могла увидеть, во что мы превратились! С какой отличной книгой живём мы теперь в соседстве! Что ты скажешь на это, старый Дуб? — обратилась Берёзовая полка к резному потолку.

Мудрый резной потолок хитро усмехнулся с высоты своими замысловатыми узорами и, не проронив ни единого слова, застыл в своей изумительной орнаментальной улыбке.

Он, видимо, всё понял.

Теперь у Ёлки были все основания произнести сокрушительную отповедь по адресу Клёна, Ясеня и некоторых других, глумившихся над нею. Но она ничего не сказала, потому что это была добрая, великодушная, настоящая ёлка. А она могла бы сейчас отчитать их не только по-датски, но и по-английски, и по-немецки, и по-русски, и по-французски. Потому что всемирно известная книга датского сказочника разговаривала на всех языках мира. Даже на тех, которые пока еще не имеют букв и грамматики. Она сумела бы их отчитать и на этих языках…

Но разве счастье в торжестве низменной страсти возмездия? Это жалкая радость слабых. Ради этого не стоило рассказывать сказку о бессмертии прекрасного.

Вот и всё.

# Пришвин Михаил Михайлович (1873–1954)

## Жулька и кот

Жулька не может отвыкнуть, чтобы при всём своём уважении к Ваське за ним не погоняться по комнатам. Он залезает на шкаф, а она замирает и часами глядит на него в положении стойки. Наконец она устаёт, глаза мутнеют и устремляются куда-нибудь на муху.

Вот тогда только Васька начинает оживать. Он много терпеливее и настойчивее собаки. Как только Жулька уставится на муху, кот спускается пониже и, вытянув лапку, грациознейшим в мире и самым кокетливым образом даёт своими бархатными пальчиками с острейшими коготками Жульке по морде.

После того он даже и не пытается бежать, а, обратив на себя внимание Жульки, делает перед носом у неё знаменитую фигуру: спина кренделем, глаза становятся мутно-злыми, уши заглажены, усы трясутся, изо рта шип.

Если же Жулька, не пугаясь страшным видом кота, всё-таки сунется, то он даёт ей лапой по-настоящему, сам же вдруг прыгнет через неё в коридор и пустится, а она за ним и настигает его наверху уже книжного шкафа, и тут начинается повторение той же игры.

## Лягушонок

В полднях от горячих лучей солнца стал плавиться снег. Пройдёт два дня, много три — и весна загудит. В полднях солнце так распаривает, что весь снег вокруг нашего домика на колёсах покрывается какой-то чёрной пылью. Мы думали, где-то угли жгли. Приблизил я ладонь к этому грязному снегу, и вдруг — вот те угли! — на сером снегу стало белое пятно: это мельчайшие жучки-прыгунки разлетелись в разные стороны.

В полдневных лучах на какой-нибудь час или два оживают на снегу разные жучки-паучки, блошки, даже комарики перелетают. Случилось, талая вода проникла в глубь снега и разбудила спящего на земле под снежным одеялом маленького розового лягушонка. Он выполз из-под снега наверх, решил по глупости, что началась настоящая весна, и отправился путешествовать. Известно, куда путешествуют лягушки: к ручейку, к болотцу.

Случилось, в эту ночь как раз хорошо припорошило, и след путешественника легко можно было разобрать. След вначале был

прямой, лапка за лапкой к ближайшему болотцу… Вдруг почему-то след сбивается, дальше больше и больше. Потом лягушонок мечется туда и сюда, вперёд и назад, след становится похожим на запутанный клубок ниток.

Что случилось? Почему лягушонок вдруг бросил свой прямой путь к болоту и пытался вернуться назад?

Чтобы разгадать, распутать этот клубок, мы идём дальше и вот видим: сам лягушонок, маленький, розовый, лежит, растопырив безжизненные лапки.

Теперь всё понятно. Ночью мороз взялся за вожжи и так стал подхлёстывать, что лягушонок остановился, сунулся туда, сюда и круто повернул к тёплой дырочке, из которой почуял весну.

В этот день мороз ещё крепче натянул свои вожжи, но ведь в нас самих было тепло, и мы стали помогать весне.

Мы долго грели лягушонка своим горячим дыханием — он всё не оживал. Но мы догадались: налили теплой воды в кастрюльку и опустили туда розовое тельце с растопыренными лапками.

Крепче, крепче натягивай, мороз, свои вожжи — с нашей весной ты теперь больше не справишься! Не больше часа прошло, как наш лягушонок снова почуял своим тельцем весну и шевельнул лапками. Вскоре и весь он ожил.

Когда грянул гром и всюду зашевелились лягушки, мы выпустили нашего путешественника в то самое болотце, куда он хотел попасть раньше времени, и сказали ему в напутствие:

— Живи, лягушонок, только, не зная броду, не суйся в воду.

## Норка и Жулька

Норка до того ревнует меня к Жульке, что, когда я позову к себе Жульку, — бежит с большой быстротой, а Жулька, само собой, ревнует Норку и тоже спешит, если я позову Норку.

Теперь у них так и пошло:

— Норка! — кричу я.

Появляется Жулька.

— Жулька!

Появляется Норка.

# Роман Сеф (Сеф Роальд Семёнович) (1931–2009)

## Лопата

Зимой у лопаты
Не было дела,
От горя и грусти
Она заржавела.
Весной
Огород
Она стала копать
И заблестела
Опять.

## Странное дело

Странное дело.
А может быть, нет —
Жил-был
На свете
Когда-то
Сапожник.
Был он сапожником
Сорок пять лет,
Но про него
Говорили:
— Художник.
Странное дело,
А может быть, нет —
Жил-был
На свете
Когда-то
Художник.
Был он
Художником
Семьдесят лет,
Но про него
Говорили:
— Сапожник.
Странное дело,

А может быть, нет?

## Час рассвета

Ты ложишься спать,
А где-то
Наступает
Час рассвета.
За окном зима,
А где-то
Жаркое,
Сухое
Лето.
Много
На земле
Людей.
Мир велик.
Запомни это.

# Скребицкий Георгий Алексеевич (1903–1964)

## Белая шубка

В ту зиму снег ещё не выпадал. Реки и озёра давно льдом покрылись, а снега всё нет и нет.

Зимний лес без снега казался хмурым, унылым. Все листья с деревьев давно опали, перелётные птицы улетели на юг, нигде не пискнет ни одна птичка; только холодный ветер посвистывает среди голых обледенелых сучьев.

Шёл я как-то с ребятами по лесу, возвращались мы из соседней деревни. Вышли на лесную поляну. Вдруг видим — посреди поляны над большим кустом вороны кружат. Каркают, летают вокруг него, то вверх летят, то на землю сядут. Наверное, думаю, они там какую-то еду себе нашли.

Стали ближе подходить. Заметили нас вороны — одни в сторону отлетели, по деревьям расселись, а другие и улетать не хотят, так над головами и кружат.

Подошли мы к кусту, смотрим — что-то под ним белеет, а что — сквозь частые ветки не разберём.

Раздвинул я ветки, гляжу — заяц, белый-белый, как снег, забился под самый куст, прижался к земле, лежит не шевелясь. Кругом всё серое — и земля, и опавшие листья, а заяц среди них так и белеет.

Вот почему он воронам на глаза попался — оделся в белую шубку, а снега-то нет, значит, и спрятаться ему, белому, негде. Дай-ка попробуем его живьём поймать!

Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да сразу цоп его за уши — и вытащил из-под куста!

Бьётся заяц в руках, вырваться хочет. Только смотрим — одна ножка у него как-то странно болтается. Тронули её, а она переломана! Значит, сильно его вороны потрепали. Не приди мы вовремя, пожалуй, и совсем бы забили.

Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, вату, забинтовали зайцу сломанную ножку и посадили в ящик. Мама положила туда сена, моркови, мисочку с водой поставила. Так у нас зайка и остался жить. Целый месяц прожил. Ножка у него совсем срослась, он даже из ящика выскакивать начал и меня вовсе не боялся. Выскочит, побегает по комнате, а как зайдёт ко мне кто-нибудь из ребят, под кровать спрячется.

Пока заяц у нас дома жил, и снег выпал, белый, пушистый,

как зайкина шубка. В нём зайцу легко спрятаться. В лесу, в снегу не скоро его заметишь.

— Ну, теперь можно его и обратно в лес выпустить, — сказал нам однажды папа.

Так мы и сделали — отнесли зайца в ближайший лесок, попрощались с ним да и выпустили на волю.

Утро было тихое, накануне ночью насыпало много снегу. Лес сделался белый, мохнатый.

В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез.

Вот когда ему белая шубка пригодилась!

## Маленький лесовод

Шёл я однажды зимой по лесу.

Было особенно тихо, по-зимнему, только поскрипывало где-то старое дерево.

Я шёл не торопясь, поглядывая кругом.

Вдруг вижу — на снегу набросана целая куча сосновых шишек. Все вылущенные, растрёпанные: хорошо над ними кто-то потрудился.

Посмотрел вверх на дерево. Да ведь это не сосна, а осина! На осине сосновые шишки не растут. Значит, кто-то натаскал их сюда.

Оглядел я со всех сторон дерево. Смотрю — немного повыше моего роста в стволе расщелинка, а в расщелинку вставлена сосновая шишка, такая же трёпаная, как и те, что на снегу валяются.

Отошёл я в сторону и сел на пенёк. Просидел минут пять, гляжу — к дереву птица летит небольшая, поменьше галки. Сама вся пёстрая — белая с чёрным, а на голове чёрная с красным кантиком шапочка. Сразу узнал я дятла.

Летит дятел, несёт в клюве сосновую шишку.

Прилетел и уселся на осину. Да не на ветку, как все птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за кору острыми когтями, а снизу ещё хвостом подпирается. Перья у него в хвосте жёсткие, крепкие.

Сунул свежую шишку в ту расщелинку, а старую вытащил клювом и выбросил. Потом уселся поудобнее, опёрся на растопыренный хвост и начал изо всех сил долбить шишку, выклёвывая семена.

Расправился с этой, полетел за другой.

Вот почему под осиной столько сосновых шишек очутилось!

Видно, понравилась дятлу эта осина с расщелинкой в стволе, и выбрал он её для своей «кузницы». Так называется место, где

дятел шишки долбит.

Засмотрелся я на дятла, как он своим клювом шишки расклёвывает. Засмотрелся и задумался:

«Ловко это у него получается: и сам сыт, и лесу польза. Не все семена ему в рот попадут, много и разроняет. Упадут семена на землю. Какие погибнут, а какие весной и прорастут…»

Стал я вокруг себя оглядываться: сколько сосенок тут из-под снега топорщится! Кто их насеял: дятел, клесты или белки? Или ветер семена занёс?

Едва выглядывают крохотные деревца, чуть потолще травинок. А пройдёт тридцать — сорок лет, и поднимется вот на этом самом месте молодой сосновый бор.

## Синица

В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка, ростом поменьше воробья. Спинка у неё серая, грудка жёлтая, на головке чёрная бархатная шапочка. Это птица-синица.

В сад она за добычей прилетела: за жучками и за гусеницами.

Большой вред приносят они садам. Одни грызут листья на садовых деревьях, другие портят плоды. Возьмёшь яблоко, разломишь его пополам, а внутри червячок. Вот этих-то вредителей и ловит синица, недаром её называют сторожем наших садов. Увидит своим зорким глазом добычу, схватит её клювом и съест. А клюв у синицы тонкий, как шильце, в любую щёлку пролезет. Много разных насекомых съедает она за день. Даже не верится, что у маленькой птички может быть такой аппетит. А сколько она поклюёт их за лето, сколько перетаскает своим птенцам — и не сочтёшь!

Зато зимой ей приходится трудно. В эту пору все насекомые от мороза прячутся, да так далеко, что редко кого удаётся поймать.

Тут-то и надо помочь синице, накормить её. Зимой она неприхотлива — всё будет есть: и хлебные крошки, и зёрнышки, и от каши, пожалуй, не откажется.

Но особенно любит синица свежее сало. Попробуйте привязать кусочек к какому-нибудь сучку — синица живо найдет угощение, уцепится за него коготками, повиснет и давай клювом долбить. Долбит, а сама раскачивается, будто на качелях.

Забавно тогда на неё смотреть!

# Сладков Николай Иванович (1920–1996)

## Апрельские шутки

Любит пошутить этот Апрель. Взял нынче и прикинулся на первое апреля зимой. Снегу высыпал, морозом ударил.

Скворцы и грачи, что с юга уже прилетели, испугались. Плохо дело: надо назад заворачивать.

Услыхал про то Апрель и перетрусил. «Что ж я, — думает, — за Апрель, что за весенний месяц, коли всех птиц разогнал?»

Давай кричать:

— Эй, птицы перелётные! Не бойтесь, не улетайте! Я пошутил. Я вас просто с первым апреля надул! Я весенний, не зимний! Сейчас снегопад остановлю, морозы прогоню. Потом за снега возьмусь, потерпите!

Легко сказать: потерпите. А есть что?

Ой, не твёрдое апрельское слово!

Не серьёзный это месяц, весенний. Всё бы ему шутить да обманывать. Не только на первое апреля может обмануть, но даже и на пятнадцатое, а то и на двадцатое. Ему — шутки, а лесным птицам и зверям — горе.

Но, спасибо, юннаты помогают. Скворечники и дуплянки[41] развесили. Голодных подкормят, замёрзших отогреют, слабых поддержат — тех, кто к человеческому жилью в непогоду жмётся.

Апрель тоже не одни шутки шутит, но и дело делает. Снега растопляет, льды взламывает, землю прогревает. Большое дело делает. Нешуточное.

## Бегство цветов

Долину у высокой снеговой горы за безводье назвали Мёртвой.

Мы пришли в долину в сумерках — ничего не успели разглядеть. А утром вдруг видим: по всей долине синие озёра в золотых берегах и холмы красных песков. Но глаза обманули нас. Не было в долине ни синих озёр, ни золотых песчаных берегов, ни красных холмов. Были цветы. В сырых впадинах синели незабудки. Они были такие яркие и такие синие, будто в них отразилось весеннее небо. Озёра незабудок окружали золотые лютики. А на сухих гривах горели маки. Маки были похожи на красные фонарики, зажжённые в зелёной траве. Их было много. Так много, что у нас начинало рябить в глазах и кружилась

голова. Вот так мёртвая долина! Как хорошо!

— Плохо, — сказали чабаны. — Мёртвая долина. Скоро всё сгорит от жары. Овцам нечего будет есть.

— И цветы сгорят? — пожалели мы. Чабан прищурился.

— Цветы уйдут.

— Как уйдут? Куда?

— Нас поведут на новые пастбища.

Шутник чабан. Нашёл проводников…

Прошло несколько дней. И вдруг мы заметили, что цветы-то действительно пошли! Цветы стали подниматься в гору! Каждый день они поднимались всё выше и выше.

Цветы уходили из Мёртвой долины. Цветы спешили!

Синими волнами вверх по сырым лощинкам выплеснулись незабудки. По скатам лощин поднимались жёлтые лютики. Будто среди жёлтых песков бежали синие ручьи.

Маки поднимались по гребням отрожков.

Всё злее жгло солнце.

Всё выше и выше поднимались на гору цветы. Высокая гора. Первыми стали отставать незабудки. Они поднялись до верхних родничков и окружили их бирюзовыми колечками. Но лютики и маки поднимались ещё выше.

Ночи стояли душные, жаркие. За горами метались зарницы.

Вершина горы из белой стала бурой — сошёл последний снег. Из бурой стала зелёной — покрылась травой. И наконец — золотой: это на саму вершину поднялись первые лютики. А скоро среди зелени и лютиков зажглись красные фонарики — на вершину вскарабкались маки!

Вслед за цветами и травой потянулись в горы и отары белых овец. Они, как курчавые весенние облака, ползли по горным склонам.

А внизу в долине всё сгорело. Долина стала мёртвой.

Но мы смотрели на горы и радовались: там, наверху, сочные травы, красные цветы — большие будут курдюки у овец, душистое будет овечье молоко.

## Бежал ёжик по дорожке

Бежал ёжик по дорожке — только пяточки мелькали. Бежал и думал: «Ноги мои быстры, колючки мои остры — шутя в лесу проживу». Повстречался с Улиткой и говорит:

— Ну, Улитка, давай-ка наперегонки. Кто кого перегонит, тот того и съест.

Глупая Улитка говорит:

— Давай!

Пустились Улитка и Ёж. Улиткина скорость известно какая — семь шагов в неделю. А Ёжик ножками туп-туп, носиком хрюк-хрюк, догнал Улитку, хруп — и съел.

Дальше побежал — только пяточки замелькали. Повстречал Лягушку-Квакушку и говорит:

— Вот что, пучеглазая, давай-ка наперегонки. Кто кого перегонит, тот того и съест.

Пустились Лягушка и Ёж. Прыг-дрыг Лягушка, туп-туп-туп Ёжик. Лягушку догнал, за лапку схватил и съел.

Съел Лягушку — дальше пятками замелькал. Бежал-бежал, видит — Филин на пне сидит, с лапы на лапу переминается и клювищем щёлкает.

«Ничего, — думает Ёж, — у меня ноги быстрые, колючки острые. Я Улитку съел, Лягушку съел — сейчас и до Филина доберусь!»

Почесал храбрый Ёж сытенькое брюшко лапкой и говорит этак небрежно:

— Давай, Филин, наперегонки. А коли догоню — съем!

Филин глазищи прищурил и отвечает:

— Бу-бу-будь по-твоему!

Пустились Филин и Ёж.

Не успел Ёж и пяточкой мелькнуть, как налетел на него Филин, забил широкими крыльями, закричал дурным голосом.

— Крылья мои, — кричит, — быстрее твоих ног, когти мои длиннее твоих колючек! Я тебе не Лягушка с Улиткой — сейчас целиком проглочу да и колючки выплюну!

Испугался Ёж, но не растерялся: съёжился да под корни и закатился. До утра там и просидел.

Нет, не прожить, видно, в лесу шутя. Шути, шути, да поглядывай!

## Медведь и солнце

Просочилась в берлогу Вода — Медведю штаны промочила.

— Чтоб ты, слякоть, пересохла совсем! — заругался Медведь. — Вот я тебя сейчас.

Испугалась Вода, зажурчала тихим голосом:

— Не я, Медведушка, виновата. Снег во всём виноват. Начал таять. Воду пустил. А моё дело водяное — теку под уклон.

— А, так это Снег виноват? Вот я его сейчас! — взревел Медведь.

Побелел Снег, испугался. Заскрипел с перепугу:

— Не я виноват, Медведь. Солнце виновато. Так припекло, так прижгло — растаешь тут!

— Ах, так это Солнце мне штаны намочило! — рявкнул Медведь. — Вот я его сейчас!

А что «сейчас»? Солнце ни зубами не схватить, ни лапой не достать.

Сияет себе. Снег топит, воду в берлогу гонит. Медведю штаны мочит.

Делать нечего — убрался Медведь из берлоги. Поворчал, поворчал да и покосолапил. Штаны сушить. Весну встречать.

## Эхо

Стоит на берегу лес, густой, как стена. Крикнешь — лес ответит. Спросишь один раз — лес три раза ответит.

— Эхо лесное, спросить могу?

— Ау, ау, ау…

— Куда это листья лесные пропали?

— Опали, опали, опали.

— Трава лесная, где ты, не вижу?

— Ниже, ниже, ниже.

— Цветы луговые, а вы что пропали?

— Завяли, завяли, завяли.

— Птички-певички, давно ли вы пели?

— Они улетели, они улетели.

— Рыбы речные, куда вы уплыли?

— А мы на дне в иле, в иле, в иле.

— Лягушки и раки, куда подевались?

— А мы закопались, мы закопались.

— Белки и зайцы, про вас мы не знаем!

— Мы шубки меняем, меняем, меняем.

— Так что же случилось в лесу? — мы спросим.

— Пришла к нам осень, осень, осень.

# Зарубежная литература

# Сказки народов мира

## Златовласка (*Чешская сказка*)

В одной стране — забыл я её название — был королём злой и сварливый старик. Пришла однажды к нему во дворец торговка, принесла в корзине свежую рыбу и говорит:

— Купи у меня эту рыбу, король. Жалеть не будешь.

Король покосился на рыбу:

— Не видел я ещё такой рыбы в своём королевстве. Ядовитая, что ли?

— Что ты! — испугалась торговка. — Прикажи эту рыбу зажарить, съешь её — и ты сразу начнёшь понимать разговор всех зверей, рыб и птиц. Даже самый малый жучок что-нибудь пропищит, а ты уже будешь знать, чего он хочет. Станешь самым умным королём на земле.

Королю это понравилось. Он купил у торговки рыбу и, хотя был скупой и жадный, даже не торговался и заплатил, сколько она запросила. «Вот теперь, — подумал король и потёр костлявые руки, — буду я самым умным на свете и завоюю весь мир. Это уж как пить дать! Поплачут теперь мои не́други».

Король позвал своего слугу, молодого Иржика, и приказал ему зажарить рыбу к обеду.

— Но только без плутовства! — сказал король Иржику. — Если ты съешь хоть один кусочек этой рыбы, отрублю голову.

Принёс Иржик рыбу на кухню, поглядел на неё и ещё больше удивился: никогда он не видел такой рыбы. Каждая рыбья чешуйка светилась разноцветным огнём, как радуга. Жалко было чистить и жарить такую рыбу. Но против королевского приказа не пойдёшь.

Жарит Иржик рыбу и никак не может понять, готова она или нет. Рыба не румянится, не покрывается корочкой, а становится прозрачной.

«Кто её знает, зажарилась она или нет, — подумал Иржик. — Надо попробовать».

Взял кусочек, пожевал и проглотил — как будто готова. Жуёт и слышит тоненькие писклявые голоса:

— И нам кусочек! И нам кусочек! Ж-ж-жареной рыбы!

Оглянулся Иржик. Никого нет. Только мухи летают над блюдом с рыбой.

— Ага! — сказал Иржик. — Теперь я кое-что начинаю понимать насчёт этой рыбы.

Взял он блюдо с рыбой и поставил на окно, на сквозной ветер, чтобы рыба остыла. А за окном идут через двор гуси и тихонько гогочут. Прислушался Иржик и слышит, как один гусь спрашивает:

— Куда пойдём? Куда пойдём?

А другой отвечает:

— К мельнику на ячменное поле! К мельнику на ячменное поле!

— Ага! — снова сказал Иржик и усмехнулся: — Теперь-то я понимаю, какая это рыба. Пожалуй, одного кусочка мне маловато.

Иржик съел второй кусок рыбы, потом красиво разложил рыбу на серебряном блюде, посыпал петрушкой и укропом и понёс блюдо королю.

С тех пор Иржик начал понимать всё, о чем говорили друг с другом звери. Он узнал, что жизнь зверей не такая уж лёгкая, как думают люди, — есть у зверей и горе и заботы. С этого времени Иржик стал жалеть зверей и старался помочь каждой самой маленькой зверюшке, если она попала в беду.

После обеда король приказал подать двух верховых лошадей и поехал с Иржиком на прогулку.

Король ехал впереди, а Иржик — за ним следом. Горячий конь Иржика всё рвался вперёд. Иржик с трудом его сдерживал. Конь заржал, и Иржик тотчас понял его слова.

— Иго-го! — ржал конь. — Давай, брат, поскачем и перенесёмся одним махом через эту гору.

— Хорошо бы, — отвечал ему конь короля, — да на мне сидит этот старый дуралей. Ещё свалится и сломает шею. Нехорошо получится — как-никак, а всё-таки король.

— Ну и пусть ломает шею, — сказал конь Иржика. — Будешь тогда возить молодого короля, а не эту развалину.

Иржик тихонько засмеялся. Но король тоже понял разговор коней, оглянулся на Иржика, ткнул его коня сапогом в бок и спросил Иржика:

— Ты чего смеёшься, нахал?

— Вспомнил, твоя королевская милость, как сегодня на кухне два поварёнка таскали друг друга за вихры́.

— Ты у меня смотри! — с угрозой промолвил король.

Он, конечно, не поверил Иржику, сердито повернул коня и поскакал к себе во дворец. Во дворце он приказал Иржику налить себе стакан вина.

— Но смотри, если не дольёшь или перельёшь — прикажу отрубить голову!

Иржик взял кувшин с вином и начал осторожно лить вино в тяжёлый стакан. А в это время влетели в открытое окно два

воробья. Летают по комнате и на лету дерутся. Один воробей держит в клюве три золотых волоса, а другой старается их отнять.

— Отдай! Отдай! Они мои! Вор!

— Не дам! Я их подхватил, когда красавица расчёсывала золотые косы. Таких волос нет ни у кого на свете. Не дам! За кого она выйдет замуж, тот будет самым счастливым.

— Отдай! Бей вора!

Воробьи взъерошились и, схватившись, вылетели за окно. Но один золотой волос выпал из клюва, упал на каменный пол и зазвенел, как колокольчик. Иржик оглянулся и… пролил вино.

— Ага! — крикнул король. — Теперь прощайся с жизнью, Иржик!

Король обрадовался, что Иржик пролил вино и можно будет от него отделаться. Король один хотел быть самым умным на свете. Кто знает, может быть, этот молодой и весёлый слуга ухитрился попробовать жареной рыбы. Тогда он будет опасным соперником для короля. Но тут королю пришла в голову удачная мысль. Он поднял с полу золотой волос, протянул его Иржику и сказал:

— Так и быть. Я тебя, пожалуй, помилую, если ты найдёшь девушку, что потеряла этот золотой волос, и приведёшь её мне в жены. Бери этот волос и отправляйся. Ищи!

Что было делать Иржику? Взял он волос, снарядился в дорогу и выехал верхом из города. А куда ехать, не знает. Отпустил он поводья, и конь поплёлся по самой пустынной дороге. Она вся заросла травой. По ней, видно, давно не ездили. Дошла дорога до высокой тёмной пущи. Видит Иржик: на опушке пылает огонь, горит сухой куст. Пастухи бросили костёр, не залили, не затоптали, и от костра куст загорелся. А под кустом — муравейник. Муравьи бегают, суетятся, тащат из муравейника своё добро — муравьиные яйца, сухих жучков, гусениц и разные вкусные зёрна. Слышит Иржик, как кричат ему муравьи:

— Помоги, Иржик! Спаси! Горим!

Иржик соскочил с коня, срубил куст и погасил пламя. Муравьи окружили его кольцом, шевелят усиками, кланяются и благодарят:

— Спасибо тебе, Иржик. Век не забудем твоей доброты! А если понадобится тебе помощь, надейся на нас. Мы за добро отплатим.

Въехал Иржик в тёмную пущу. Слышит: жалобно кто-то пищит. Осмотрелся и видит: под высокой елью лежат два воронёнка — выпали из гнезда — и пищат:

— Помоги, Иржик! Покорми нас! Умираем с голоду! Мать с отцом улетели, а мы ещё летать не умеем.

Король нарочно дал Иржику старого, больного коня — настоящую клячу. Стоит конь, ноги у коня трясутся, и видно, что поездка эта для него — одно мучение.

Иржик соскочил с коня, подумал, заколол его и оставил воронятам конскую тушу — пусть кормятся.

— Кар-р, Ир-ржик! Ка-р-р! — весело закричали воронята. — Мы тебе за это поможем!

Дальше пошёл Иржик пешком. Долго шёл глухим лесом, потом лес начал шуметь всё сильнее, всё громче, ветер гнул уже вершины деревьев. А потом к шуму вершин прибавился плеск волн, и Иржик вышел к морю. На песчаном берегу спорили два рыбака. Одному попалась в сеть золотая рыба, а другой требовал эту рыбу себе.

— Моя сеть, — кричал один рыбак, — моя и рыба!

— А лодка чья? — отвечал другой рыбак. — Без моей лодки ты бы сеть не закинул!

Рыбаки кричали всё сильнее, потом засучили рукава, и дело кончилось бы дракой, если бы не вмешался Иржик.

— Бросьте шуметь! — сказал он рыбакам. — Продайте мне эту рыбу, а деньги поделите между собой. И дело с концом.

Иржик отдал рыбакам все деньги, что получил от короля на дорогу, взял золотую рыбу и бросил в море. Рыба вильнула хвостом, высунула голову из воды и говорит:

— Услуга за услугу. Когда понадобится тебе моя помощь, ты меня позови. Я приплыву.

Иржик сел на берегу отдохнуть. Рыбаки его спрашивают:

— Куда шагаешь, добрый человек?

— Да вот ищу невесту для своего старого короля. Приказал достать ему в жёны красавицу с золотыми волосами. А где её найдёшь?

Переглянулись рыбаки, сели на песок рядом с Иржиком.

— Ну что ж, — говорят, — ты нас помирил, а мы добро помним. Поможем тебе. Красавица с золотыми волосами на всём свете только одна. Это дочь нашего короля. Вон видишь на море остров, а на острове — хрустальный дворец? Вот там она и живёт, в этом дворце. Каждый день на рассвете она расчёсывает волосы. Тогда занимается над морем такая золотая заря, что мы просыпаемся от неё в своей хижине и знаем, что пора нам, значит, на ловлю. Мы перевезём тебя на остров. Только узнать красавицу почти невозможно.

— Это почему же? — спрашивает Иржик.

— А потому что у короля двенадцать дочерей, а золотоволосая одна. И все двенадцать королевен одеты одинаково. И у всех на головах одинаковые покрывала. Волос под

ними не видно. Так что дело твоё, Иржик, трудное.

Перевезли рыбаки Иржика на остров. Иржик пошёл прямо в хрустальный дворец к королю, поклонился ему и рассказал, зачем попал на остров.

— Ладно! — сказал король. — Я человек неупрямый. Отдам дочь замуж за твоего короля. Но за это ты должен три дня выполнять мои задачи. Идёт?

— Идёт! — согласился Иржик.

— Поди поспи с дороги. Отдохни. Мои задачи замысловатые. Их с ходу не решишь.

Хорошо спалось Иржику! В окна дул всю ночь морской ветер, шумел прибой, а изредка даже залетали на постель мелкие брызги.

Встал утром Иржик, пришёл к королю. Король подумал и говорит:

— Вот тебе первая задача. Носила моя золотоволосая дочь на шее ожерелье из жемчуга. Оборвалась нитка, и все жемчужины рассыпались в густой траве. Собери их все до единой.

Пошел Иржик на лужайку, где королевна рассыпала жемчуг. Трава стоит по пояс и такая густая, что земли под ней не видно.

— Эх, — вздохнул Иржик, — были бы здесь друзья-муравьи, они бы мне помогли!

Вдруг слышит писк в траве, будто сотни каких-то крошечных людишек возятся около его ног:

— Мы тут! Мы тут! Чем тебе помочь, Иржик? Собрать жемчужины? Погоди, мы это мигом!

Забегали муравьи, замахали усиками и начали стаскивать к ногам Иржика жемчужину за жемчужиной. Иржик едва успевал нанизывать их на суровую нитку.

Собрал всё ожерелье и понёс королю. Король долго пересчитывал жемчужины, сбивался, считал снова.

— Всё верно! Ну хорошо, завтра дам тебе потруднее задачу.

Приходит Иржик к королю на следующий день. Король хитро посмотрел на него и сказал:

— Вот беда! Купалась моя золотоволосая дочь и уронила в море золотой перстень. Даю тебе день сроку на то, чтобы ты его достал.

Пошел Иржик к морю, сел на берегу и чуть не заплакал. Море перед ним лежит тёплое, чистое и такое глубокое, что даже страшно подумать.

— Эх, — говорит Иржик, — была бы тут золотая рыба, она бы меня выручила!

Вдруг в море что-то блеснуло на тёмной воде, и из глубины всплыла золотая рыба.

— Не грусти! — сказала она Иржику. — Только что видела я щуку с золотым перстнем на плавнике. Будь спокоен, я его добуду!

Долго ждал Иржик, пока наконец не выплыла золотая рыба с золотым перстнем на плавнике.

Иржик осторожно снял перстень с плавника, чтобы рыбе не было больно, поблагодарил её и пошёл во дворец.

— Ну что ж, — сказал король, — ловкий ты, видно, человек. Завтра приходи за последней задачей.

А последняя задача была самая трудная: принести королю живой и мёртвой воды. Где её взять? Пошёл Иржик куда глаза глядят, дошёл до великой пущи, остановился и думает:

«Были бы здесь мои воронята, они бы…»

Не успел он додумать, слышит над головой свист крыльев, карканье и видит: летят к нему знакомые воронята.

Рассказал им Иржик своё горе.

Воронята улетели, долго их не было, а потом снова зашумели крыльями и притащили Иржику в клювах две баклаги с живой и мёртвой водой.

— Карр, карр, берри и будь ррад! Карр!

Взял Иржик баклаги и пошёл к хрустальному дворцу. Вышел на опушку и остановился: между двух деревьев чёрный паук сплёл паутину, поймал в неё муху, убил и сидит сосёт мушиную кровь. Брызнул Иржик на паука мёртвой водой. Паук тут же умер — сложил лапки и упал на землю. Тогда Иржик побрызгал муху живой водой. Она ожила, забила крылышками, зажужжала, разорвала паутину и улетела. А улетая, сказала Иржику:

— На своё счастье ты меня оживил. Я тебе помогу узнать Златовласку.

Пришёл Иржик к королю с живой и мёртвой водой. Король даже ахнул, долго не верил, но попробовал мёртвую воду на старой мыши, что бежала через дворцовую комнату, а живую воду — на засохшем цветке в саду и обрадовался. Поверил. Взял Иржика за руку, повёл в белый зал с золотым потолком. Посреди зала стоял круглый хрустальный стол, а за ним на хрустальных креслах сидели двенадцать красавиц, до того похожих одна на другую, что Иржик только махнул рукой и опустил глаза — как тут узнать, которая из них Златовласка! На всех одинаковые длинные платья, а на головах — одинаковые белые покрывала. Из-под них не видно ни волоска.

— Ну, выбирай, — говорит король. — Угадаешь — твоё счастье! А нет — уйдёшь отсюда один, как пришёл.

Иржик поднял глаза и вдруг слышит — жужжит что-то у самого уха.

— Ж-и-и-и, иди вокруг стола. Я тебе подскаж-жу.

Взглянул Иржик: летает над ним маленькая муха. Иржик медленно пошёл вокруг стола, а королевны сидят, потýпились[42]. И у всех одинаково щёки зарделись. А муха жужжит-жужжит:

— Не та! Не та! Не та! А вот эта — она, золотоволосая!

Иржик остановился, прикинулся, будто ещё сомневается, потом сказал:

— Вот золотоволосая королевна!

— Твоё счастье! — крикнул король.

Королевна быстро вышла из-за стола, сбросила белое покрывало, и золотые волосы рассыпались у неё по плечам. И сразу же весь зал заиграл таким блеском от этих волос, что казалось, солнце отдало весь свой свет волосам королевны.

Королевна взглянула в упор на Иржика и отвела глаза: такого красивого и статного юноши она не видела ни разу. Сердце у королевны тяжело билось, но отцовское слово — закон. Придётся ей идти замуж за старого злого короля!

Повёз Иржик невесту своему господину. Всю дорогу берёг её, следил, чтобы не спотыкался её конь, чтобы холодная капля дождя не упала на её плечи. Грустное это было возвращéние. Потому что и Иржик полюбил золотоволосую королевну, но не мог ей об этом сказать.

Старый сварливый король захихикал от радости, когда увидел красавицу, и приказал быстро готовить свадьбу. А Иржику сказал:

— Хотел я тебя повесить на сухом суку за ослушание, чтобы труп твой склевали вороны. Но за то, что ты нашёл мне невесту, объявляю тебе королевскую милость. Вешать я тебя не буду, а прикажу отрубить голову и похоронить с честью.

Наутро отрубили Иржику голову на плахе. Зарыдала золотоволосая красавица и попросила короля отдать ей безглавое тело и голову Иржика. Король насýпился[43], но не решился отказать невесте.

Златовласка приложила голову к телу, побрызгала живой водой — голова приросла, даже следа не осталось. Побрызгала она Иржика второй раз — и он вскочил живой, молодой и ещё более красивый, чем был до казни. И спросил Златовласку:

— Почему я так крепко уснул?

— Ты бы уснул навсегда, — ответила ему Златовласка, — если бы я не спасла тебя, милый.

Король увидел Иржика и остолбенéл: как это он ожил, да ещё стал таким красивым! Король был хитрый старик и тут же решил извлечь из этого случая выгоду. Позвал палача и приказал:

— Отруби мне голову! А потом пусть Златовласка побрызжет

на меня чудесной водой. И я оживу молодым и красивым.

Палач с охотой отрубил голову старому королю. А воскреси́ть[44] его не удалось. Зря только вылили на него всю живую воду. Должно быть, было в короле столько злости, что никакой живой водой не поможешь. Похоронили короля без слёз, под барабанный бой. А так как стране нужен был умный и добрый правитель, то и выбрал народ правителем Иржика, — недаром он был самым мудрым человеком на свете. А Златовласка стала женой Иржика, и они прожили долгую и счастливую жизнь.

Так и окончилась эта сказка о том, как звери отплатили добром за добро и как король потерял голову.

## Золотое яблоко (*Армянская сказка*)

Жил-был царь. Царствовал он год, царствовал два года, царствовал три года.

Все его боялись, все ему угождали. И стало царю скучно-скучно.

Сидит он на троне и скучает.

Приказал он созвать во дворец музыкантов со всей страны. Играли ему музыканты и на свире́ли, и на ци́тре, и на бу́бне, и на барабане. И надоели царю до смерти.

Приказал он позвать плясунов. Уж плясали плясуны, плясали, и так и этак коленца выкидывали, едва ноги себе не отбили. А царь и смотреть на них не хочет.

Скучно царю.

Приказал царь созвать самых искусных наездников. Скакали они перед царём, и сидя в седле, и стоя на коне, и по ровному месту, и по горным склонам. А царь смотрит и зевает, зевает и не смотрит.

Скучно царю.

Приказал царь созвать самых сильных силачей. Стали они бороться, свою силу-ловкость показывать. И только ещё больше скуку на царя нагнали.

Сидит царь и думает: как бы ему развеселиться? И придумал.

Послал он гонцов по всем дорогам и велел вывесить на всех площадях и перекрёстках его царский указ:

Наш милостивый царь,
Пребывая в великой печали, объявляет:
Кто придумает небыли́цу,
Такую хитрую, что самого царя обманет,
Тот получит в награду золотое яблоко.

Много на свете людей, которые соврут и дорого не возьмут, а тут им золотое яблоко обещают. И не хочешь, а соврёшь.

Повалил к царю всякий народ — и вельможи, и торговцы, и судьи, и менялы. Врут, завираются, невесть что плетут. А царь только рукой машет:

— Ступайте, слушать вас скучно! Даже соврать толком не умеете!

И вот пришёл во дворец бедняк. Низко поклонился царю и поставил перед ним кувшин.

— Чего тебе надо? — удивился царь.

А бедняк отвечает:

— Я пришёл получить с тебя долг. Разве ты забыл, милостивый царь, что должен мне кувшин золота?

Царь так и подскочил на троне.

— Да ты что, в своём ли уме? Когда я у тебя золото брал? Вот уж врун так врун!

— Ну, если я такой хороший врун, — говорит бедняк, — тогда давай золотое яблоко. Для бедного человека и этого немало!

Видит царь, что попался, как мышь в мышеловку.

— Да какой ты врун! — говорит. — Разве же это вранье?

— А если это не вранье, — говорит бедняк, — тогда сыпь сюда золото, — и постучал пальцем по кувшину.

Не знает царь, что делать. Отдать золотое яблоко жалко, а кувшин золотых монет — ещё того больше. Думал он, думал — ничего не придумал. Пришлось ему отдать золотое яблоко.

Бедняк рад.

А царь с тех пор и скучать перестал.

## Музы́ка-чародейник (*Белорусская сказка*)

Жил на свете парень. Поглядеть на него, так ничем не приметный — и умом не быстрый, и в работе не ловкий, а вот на дудочке или на другом чем сыграть — великий был мастер. За то и прозвали его люди — Музы́ка, а про настоящее его имя, отцом-матерью данное, совсем позабыли.

Еще когда малым хло́пчиком[45] он был, пошлют его волов пасти, а он смастерит себе из лозы дудочку да так заиграет, что волы и те заслушаются, развесят уши и стоят, точно их кто околдовал.

А то пойдет Музыка в ночное. На дворе лето, ночи тёплые, аж пари́т. Приведут хлопцы и девки коней на луг, пляшут, смеются, песни поют. Ведомо, молодость! Ей всегда весело!

А Музыка как заиграет на своей дудочке, все разом и

притихнут. И сдаётся, словно какая сладость в сердце входит, словно какая сила подхватывает и несёт, и несёт всё выше и выше, к ясным зорькам, в чистое синее широкое небо.

Сидят парни и девки тихо-претихо. Сидят и слушают. И ведь всю бы жизнь так сидели, всё бы слушали, как Музыка играет!

Вот замолчит он. Никто ворохнуться не смеет, как бы только голос тот не спугнуть, что поёт-рассыпается по лугам и дубравам, по земле стелется, в небе звенит. Все птахи лесные примолкнут. Уж на что лягушки болтливы, так даже они замолчат, вылезут из своего болота и сидят на кочках словно неживые.

А то вдруг заиграет Музыка протяжно, жалостливо. Заплачут тогда и лес, и дубрава, откуда ни возьмись, хмурки набегут, с неба слёзы польются.

Идут мужики и бабы домой — после целого-то дня работы, — заслышат ту музыку и остановятся. И уж такая разберёт их жалость, что даже мужики — старые, бородатые — и те в голос заплачут.

А Музыка тем часом возьми да и сверни от жалостливого на весёлое. Что тут сделается! Побросают все свои косы и вилы, грабли и бакла́ги[46], возьмутся за бока и давай плясать. Пляшут старики, пляшут малые дети, пляшут кони, пляшут дубравы, пляшут зорьки, пляшут хмурки — всё пляшет, всё смеётся!

Вот какой был Музыка-чародейник! Что захочет, то с сердцем и сделает.

А когда подрос Музыка, смастерил он себе скрипку и пошёл по белу свету тешить людей. Ходит он по деревням и сёлам, играет на своей скрипочке, и кто его ни услышит, всякий в дом к себе позовёт, напоит, накормит да ещё на дорогу чего-нибудь даст.

Так и жил бы себе Музыка, да на беду в тех местах чертей было видимо-невидимо. В каждом болоте водились, в каждом овражке. И никому от этой нечисти проходу не было.

Видят черти, что куда Музыка ни придёт, где на своей скрипочке ни сыграет, там люди в мире живут, — и невзлюбили они его. На то ведь и черти! Им жизнь не в жизнь, если людей не перессорят. Раз как-то шёл Музыка лесом, а черти его и выследили.

— Уж теперь-то, — говорят, — мы его изведём.

И наслали они на него двенадцать волков.

Вышли волки на дорогу, стоят, зубами ляскают, во все глаза на Музыку смотрят. А глаза-то у них круглые, что твои лукошки, и точно горячие уголья горят.

Остановился Музыка. Нет у него в руках ничего, чем бы от волков защититься, только скрипка в мешочке. Что тут делать?

Что придумать? Видит Музыка — пришёл ему конец.

Достал он тут из мешочка свою скрипочку, чтобы напоследок ещё хоть разок поиграть, прислонился к дереву и начал водить смычком по струнам. Живая заговорила скрипка!

Притаился лес, листком не шелохнёт. А волки как разинули пасти, так словно и окаменели. Стоят, слушают Музыку, а слёзы из волчьих глаз сами собой текут.

Вот перестал Музыка играть, опустил свою скрипочку, к смерти приготовился. Вдруг видит: повернули волки в тёмный лес. Головы повесили, хвосты поджали, кто куда разбреда́ются.

Обрадовался Музыка. Дальше своей дорогой пошёл.

Шёл, шёл и дошёл до реки. Солнышко уже за лес закатилось, только самые верхушки своими лучами трогает, будто золотом их вызола́чивает. Больно хороший вечер! Сел Музыка на пригорке, достал свою скрипку и заиграл, да так ладно, так весело, что и небо, и вода, и земля — всё в пляс пустилось.

Сам водяной не утерпел. Как начал он по дну реки скакать да разные коленца выкидывать!.. Забурли́ли, закипели ключом волны, выплеснулась река из берегов и пошла всё кругом заливать…

Уже к самому лесу подступает, всю опушку затопила… А на опушке как раз черти собрались — поминки по Музыке справлять. Ну и натерпелись же они страху! Едва живые из воды повыскакивали. «Это что же за напасть такая?» — думают.

Поглядели туда-сюда, что за диво! Сидит на пригорке Музыка — целый, невредимый — и на своей скрипочке наигрывает.

— Да что же это такое! — плачут черти. — И волков он заворожи́л! Как же его сгубить? Житья от него нет!

А Музыка увидел, что водяной на радостях уже деревню топить хочет, и не стал больше играть. Спрятал свою скрипочку в мешочек и пошёл дальше. Да не успел десяти шагов отойти, встречаются ему на дороге два па́ныча[47].

— Послушай, Музыка, — говорят ему те па́нычи, — сделай милость, поиграй нам на вечеринке. Уж мы тебе всего дадим, чего ни захочешь, и напоим, и накормим, и спать уложим.

Подумал, подумал Музыка: ночевать ему негде, гро́шей нету, и пошёл с ними. Привели панычи Музыку в богатый дом. Смотрит он, а там народу видимо-невидимо.

Вот вытащил он свою скрипочку, приготовился играть.

А гостей всё больше и больше набивается. И кто ни придёт — сперва к столу подбежит, обмакнёт палец в миску и потрёт себе глаза. Чудно это Музыке. «Дай, — думает, — и я попробую».

Сунул он палец в миску и чуть только тронул глаза — такое увидел, что дух у него захватило! Панов и панночек[48] словно и

не бывало, а вокруг него снуют самые настоящие черти и ведьмы. И дом-то — вовсе не дом, а само чёртово пекло! «Ну, — думает Музыка, — поиграю же я, на славу поиграю, чтобы им, чертям, жарко стало!» Начал он наигрывать на своей скрипочке. Минуты не прошло — всё вихрем закружилось. Столы-стулья вприсядку пошли, за ними окна с места сорвались, двери с петель снялись, а стены так ходуном и заходили. Да и где же устоять под такую музыку! Ни один гвоздик на месте не удержался, всё пекло в щепки разлетелось.

А черти кувырком да колесом, вприпрыжку да вприскочку разбежались кто куда.

С той поры боятся черти Музыку, больше не цепляются к нему. А он ходит себе по свету, добрых людей веселит да тешит, лихих — без ножа по сердцу режет.

# Мифы Древней Греции

## *Олимп*

Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный сонмом богов. Здесь и супруга его Гера, и златокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и златая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные оры охраняют вход на высокий Олимп и подымают закрывающее врата густое облако, когда боги нисходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. Высоко над Олимпом раскинулось голубое бездонное небо, и льётся с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве Зевса; вечно там светлое, радостное лето. А ниже клубятся облака, порой закрывают они далёкую землю. Там, на земле, весну и лето сменяют осень и зима, радость и веселье сменяются несчастьем и горем. Правда, и боги знают печали, но они скоро проходят, и снова водворяется радость на Олимпе.

Пируют боги в своих золотых чертогах, построенных сыном Зевса Гефестом. Царь Зевс сидит на высоком золотом троне. Величием и гордо-спокойным сознанием власти и могущества дышит мужественное прекрасное лицо Зевса. У трона его богиня мира Эйрена и постоянная спутница Зевса крылатая богиня победы Ника. Вот входит величественная богиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит свою жену; почётом окружают Геру, покровительницу брака, все боги Олимпа. Когда, блистая своей красотой, в пышном наряде, Гера входит в пиршественный зал, все боги встают и склоняются перед женой громовержца. А она идет к золотому трону и садится рядом с Зевсом. Около трона Геры стоит её посланница, богиня радуги, легкокрылая Ирида, всегда готовая быстро нестись на радужных крыльях в самые дальние края земли исполнять повеления Геры.

Пируют боги. Дочь Зевса, юная Геба, и сын царя Трои Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие, подносят им амброзию и нектар — пищу и напиток богов. Прекрасные хариты и музы услаждают их пением и танцами. Взявшись за руки, водят они хороводы, а боги любуются их легкими движениями и дивной, вечно юной красотой. Веселее становится пир олимпийцев. На этих пирах решают боги все дела, на них определяют они судьбу мира и людей.

С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В руках Зевса судьба людей: счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть. Два больших сосуда стоят

у ворот дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в другом — зла. Зевс черпает из сосудов добро и зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовержец черпает дары только из сосуда со злом. Горе и тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не соблюдает его законов. Грозно сдвинет сын Крона свои густые брови, черные тучи заволокут небо. Разгневается великий Зевс, и страшно поднимутся волосы на голове его, глаза загорятся нестерпимым блеском; взмахнет он своей десницей — удары грома раскатятся по всему небу, сверкнёт пламенная молния и сотрясется высокий Олимп.

У трона Зевса стоит хранящая законы богиня Фемида. Она созывает, по повелению громовержца, собрания богов на Олимпе и народные собрания на земле, наблюдает, чтобы не нарушались порядок и закон. На Олимпе и дочь Зевса богиня Дикэ, наблюдающая за правосудием. Строго карает Зевс неправедных судей, когда Дикэ доносит ему, что не соблюдают они законов, данных Зевсом. Богиня Дикэ — защитница правды и враг обмана.

Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, все же судьбу людей определяют неумолимые богини судьбы — мойры, живущие на Олимпе. Судьба самого Зевса в их руках. Властвует рок над смертными и над богами. Никому не уйти от велений неумолимого рока. Нет такой силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предназначено богам и смертным. Одни мойры знают веления рока. Мойра Клото прядёт жизненную нить человека, определяя срок его жизни. Оборвётся нить — и кончится жизнь. Мойра Лахесис вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Никто не в силах изменить определенной мойрами судьбы, так как третья мойра, Атропос, всё, что назначили в жизни человеку её сестры, заносит в длинный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимы великие, суровые мойры.

Есть и ещё на Олимпе богиня судьбы — это Тюхе, богиня счастья и благоденствия. Из рога изобилия, рога божественной козы Амалфеи, молоком которой был вскормлен Зевс, сыплет она дары людям, и счастлив тот человек, который встретит на своем жизненном пути богиню счастья Тюхе. Но как редко это бывает и как несчастлив тот человек, от которого отвернется богиня Тюхе, только что дававшая ему свои дары!

Так царит окруженный сонмом богов на Олимпе Зевс, охраняя порядок во всём мире.

# Библейские сказания

## *Семь дней творения*

Вначале сотворил Бог небо и землю. Но земля была пуста и безвидна; тьма царила повсюду.

Тогда сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И Бог назвал свет днём и тьму ночью. Это был первый день.

И сказал Бог: «Да будет твердь!» И стала твердь. И назвал Бог твердь небом. Это был второй день.

И сказал Бог: «Да соберется вода в одно место и да явится суша!» И стало так. И назвал Бог сушу землей; а собрание вод назвал морями. И сказал Бог: «Да произрастит земля зелень, траву и деревья». И стало так. Это был третий день.

И сказал Бог: «Да будут светила на небе!» И создал Бог солнце, луну и звезды. Это был четвёртый день.

И сказал Бог: «Да произведет вода рыб, и птицы да полетят по небу!» И сотворил Бог разных рыб и птиц. Это был пятый день.

И сказал Бог: «Да будут на земле животные разных видов!» И стало так. Наконец Бог создал человека. Это был шестой день.

И посмотрел Бог на все, что создал, и увидел, что все очень хорошо. Седьмой день Бог почил от всех дел Своих и благословил седьмой день и освятил его.

## *Бог сотворил первого человека*

Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему. Он будет владычествовать над всей землёй». И сотворил Бог тело человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою живою. И назвал Бог человека Адамом.

Бог насадил райский сад для человека. В нем было много растений, деревьев и вкусных плодов. И сказал Бог Адаму: «От всякого дерева в саду можешь есть; только не ешь плодов дерева, которое посреди рая, ибо, если вкусишь от него, умрёшь».

Бог сказал также: «Нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему подходящую помощницу». И навел Бог на Адама глубокий сон. И взял одно из рёбер его и сотворил из ребра женщину, и привел её к Адаму. Адам назвал свою жену Ева (то есть жизнь), ибо она стала матерью всех живущих. Адам и Ева жили праведно и свято и были очень счастливы в раю.

# Ганс Христиан Андерсен (1805–1875)

## Огниво

Шёл солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля на боку. Шёл он домой с войны. По дороге встретилась ему старая ведьма, безобразная, противная: нижняя губа висела у нее до самой груди.

— Здорово, служивый! — буркнула она. — Ишь какая у тебя славная сабля! А ранец-то какой большой! Вот бравый солдат! Ну, сейчас я тебе отвалю денег, сколько твоей душе угодно.

— Спасибо тебе, старая ведьма! — сказал солдат.

— Видишь вон то старое дерево? — проговорила ведьма, показывая на дерево, которое стояло неподалёку. — Внутри оно пустое. Влезь наверх — увидишь дупло, спустись в него до самого низу. Перед тем как ты спустишься, я тебя обвяжу верёвкой вокруг пояса, а когда ты мне крикнешь, я тебя вытащу.

— Но зачем мне туда лезть? — спросил солдат.

— За деньгами! — ответила ведьма. — Надо тебе знать, что, когда ты доберёшься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход; в нём горит больше трехсот ламп, поэтому там совсем светло. Потом ты увидишь три двери; можешь их отворить, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату; посреди комнаты увидишь большой сундук, а на нём собаку; глаза у нее величиной с чайную чашку. Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, а ты расстели его на полу, быстренько подойди и схвати собаку; посади её на передник, открой сундук и бери из него денег сколько угодно. В этом сундуке лежат только медяки; захочешь серебра — ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами, как мельничные колеса, но ты не пугайся, посади её на передник и бери деньги. А если тебе захочется золота, достанешь и его, сколько сможешь унести, стоит лишь пойти в третью комнату. У собаки, которая сидит там на деревянном сундуке, глаза с Круглую башню[49]. Собака эта очень злая, можешь мне поверить! Но ты и её не бойся. Посади её на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота сколько хочешь!

— Оно бы недурно! — сказал солдат. — Но что же ты с меня за это возьмёшь, старая ведьма? Ведь даром ты для меня ничего не сделаешь.

— Ни гроша я с тебя не возьму, — ответила ведьма. — Только принеси мне старое огниво, — там его позабыла моя бабушка,

когда спускалась туда в прошлый раз.

— Ну, обвязывай меня веревкой! — приказал солдат.

— Готово! — сказала ведьма. — А вот и мой синий клетчатый передник!

Солдат влез на дерево, забрался в дупло и, как и говорила ведьма, очутился в большом проходе, где горели сотни ламп.

Вот он открыл первую дверь. Ох! Там сидела собака с глазами, как чайные чашки, и таращила их на солдата.

— Молодчина! — сказал солдат и, посадив собаку на ведьмин передник, набрал себе полный карман медных денег, потом закрыл сундук, водворил на него собаку и перешёл в другую комнату. Правду сказала ведьма! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.

— Ну, нечего таращить на меня глаза, а то ещё заболят! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник.

Увидев в сундуке огромную кучу серебра, он выбросил все медяки и набил себе оба кармана и ранец серебром. Затем он перешёл в третью комнату. Ну и страшилище! У собаки, которая там сидела, глаза были никак не меньше Круглой башни и вращались будто колеса.

— Добрый вечер! — сказал солдат и взял под козырёк.

Такой собаки он ещё не видывал.

Впрочем, смотрел он на неё недолго, а взял да и посадил её на передник, потом открыл сундук. Боже! Сколько тут было золота! Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговок сластями, всех оловянных солдатиков, всех деревянных лошадок и все кнутики на свете! Денег была уйма. Солдат выбросил серебряные деньги и так набил свои карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что едва мог двигаться. Ну, наконец-то он был при деньгах! Собаку он опять посадил на сундук, потом захлопнул дверь, поднял голову и закричал:

— Тащи меня, старая ведьма!

— Огниво взял? — спросила ведьма.

— Ах чёрт, чуть было не забыл! — ответил солдат, пошёл и взял огниво.

Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, только теперь карманы его, и сапоги, и ранец, и фуражка были набиты золотом.

— Зачем тебе это огниво? — спросил солдат.

— Не твоё дело! — ответила ведьма. — Получил деньги, и хватит с тебя! Ну, отдавай мне огниво!

— Как бы не так! — сказал солдат. — Сию минуту говори, на что оно тебе нужно, а не то вытащу саблю и голову тебе отрублю.

— Не скажу! — упёрлась ведьма.

Ну солдат взял да и отрубил ей голову. Ведьма повалилась на землю мёртвая, а он завязал все деньги в её передник, взвалил узел себе на спину, огниво сунул в карман и отправился прямо в город.

Город этот был богатый. Солдат остановился на самом дорогом постоялом дворе, занял самые лучшие комнаты и заказал все свои любимые блюда, — ведь он теперь стал богачом!

Слуга, который чистил обувь приезжих, удивился, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат ещё не успел обзавестись новыми. Однако на другой день он купил себе и хорошие сапоги, и дорогую одежду.

Теперь солдат сделался настоящим барином, и ему рассказали обо всех достопримечательностях города, о короле и его прелестной дочери, принцессе.

— Как бы её увидеть? — спросил солдат.

— Это невозможно! — ответили ему. — Она живёт в огромном медном замке, окружённом высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти в замок, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, что дочь его выйдет замуж за совсем простого солдата, а королям такое понравиться не может.

«Вот бы на неё поглядеть!» — подумал солдат.

Да кто бы ему позволил?!

Теперь он зажил весело: ходил в театры, ездил кататься в королевский сад и много денег отдавал бедным. И это было очень хорошо с его стороны, ведь он по себе знал, как трудно сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрёл множество друзей; все они называли его славным малым, настоящим кавалером, а ему это очень нравилось. Но так как он всё только тратил деньги, а новых ему взять было неоткуда, то в конце концов осталось у него всего-навсего две монетки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку под самой крышей, самому чистить себе сапоги и даже латать их; теперь никто из друзей его не навещал, — уж очень высоко было к нему подниматься!

Однажды тёмным вечером солдат сидел в своей каморке, денег у него не было даже на свечку. И вдруг он вспомнил про крошечный огарочек, который он взял вместе с огнивом в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но как только ударил по кремню, высекая огонь, дверь распахнулась, и перед ним предстала собака с глазами, как чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

— Что угодно, господин? — пролаяла она.

— Вот так история! — сказал солдат. — Огниво-то, выходит,

прелюбопытная штучка: теперь я смогу получить всё, что захочу! Эй ты, добудь-ка мне денег! — приказал он собаке, — и… раз — её уж и след простыл; два — она опять была тут как тут, а в зубах держала большой кошель, набитый медными монетами! Тогда солдат понял, что за чудодейственное у него огниво. Ударишь по кремню раз — является собака, что сидела на сундуке с медными деньгами; ударишь два — является та, что сидела на серебре; ударишь три — прибегает та, что сидела на золоте.

Солдат опять перебрался в хорошие комнаты и стал носить богатую одежду, а все его друзья немедленно узнали его и крепко полюбили вновь.

Вот раз ему и пришло в голову: «Как это глупо, что нельзя повидать принцессу! Такая красавица, говорят, а что толку? Весь век сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями! Неужели мне так и не удастся поглядеть на неё хоть одним глазком? Ну-ка, где моё огниво?» — и он ударил по кремню раз. В тот же миг перед ним предстала собака с глазами, как чайные чашки.

— Теперь, правда, уже ночь, — сказал солдат, — но мне до смерти захотелось увидеть принцессу, хоть на минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, как она вернулась с принцессой. Принцесса сидела на спине у собаки и спала. Она была чудо как хороша — всякий сразу бы увидел, что это настоящая принцесса; и солдат не утерпел и поцеловал её, — он ведь был бравый воин, настоящий солдат.

Потом собака отнесла принцессу назад; и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она нынче видела удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал её.

— Вот так история! — воскликнула королева. На следующую ночь в спальню принцессы отрядили старуху фрейлину с приказом разузнать, был ли то сон или явь.

А солдату опять до смерти захотелось увидеть прелестную принцессу. И вот ночью снова явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть к солдату; но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидев, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где их найти!» — начертила большой крест на воротах и отправилась домой спать. Но собака на обратном пути заметила этот крест, сейчас же взяла кусок мела и понаставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла найти нужные ворота, раз на всех остальных тоже белели кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все

офицеры пошли узнать, куда ездила принцесса ночью.

— Вот куда! — сказал король, увидев первые ворота с крестом.

— Нет, вот куда, муженёк! — возразила королева, заметив крест на других воротах.

— Крест и здесь, и здесь… — зашумели придворные, увидев кресты на других воротах. Тут все поняли, что не добиться им толку.

Но королева была женщина умная — она умела не только в каретах разъезжать. И вот взяла она большие золотые ножницы, разрезала кусок шёлковой материи на несколько лоскутов и сшила крошечный хорошенький мешочек; в тот мешочек она насыпала мелкой гречневой крупы и привязала его на спину дочке, а потом прорезала в нём дырочку, чтобы крупа сыпалась на дорогу, по которой поедет принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу себе на спину и побежала к солдату, а солдат до того влюбился в принцессу, что начал жалеть, почему он не принц, — так хотелось ему жениться на ней.

Собака и не заметила, что по всей дороге, от самого дворца до окна солдата, куда она вскочила с принцессой, за нею сыпалась крупа. Уже рано утром король и королева узнали, куда ездила их дочь, и солдата посадили в тюрьму. Как там было темно и тоскливо! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Невесело было услышать это. А огниво своё он позабыл дома, на постоялом дворе.

Утром солдат подошёл к маленькому окошку своей камеры и стал глядеть сквозь железную решётку на улицу: народ толпами валил за город смотреть, как будут вешать солдата; били барабаны, проходили полки. Все бежали бегом; бежал и мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях. Он мчался вприпрыжку, и одна туфля слетела у него с ноги и стукнула прямо в стену, у которой стоял солдат, глядя сквозь решётку.

— Эй, ты куда торопишься? — сказал солдат мальчику. — Без меня ведь дело не обойдётся! А вот если ты сбегаешь туда, где я жил раньше, за моим огнивом, ты получишь четыре монеты. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монеты и стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату, и… а вот сейчас узнаем, что было потом!

За городом была построена огромная виселица, а вокруг стояли солдаты и многие сотни тысяч людей. Король и королева сидели на роскошном троне прямо против судей и королевского совета.

Солдат уже стоял на лестнице, и ему собирались накинуть верёвку на шею, но он сказал, что, прежде чем казнить преступника, всегда исполняют какое-нибудь его невинное желание. А ему очень хотелось бы выкурить трубочку табаку, ведь это будет его последняя трубочка на этом свете!

Король не посмел отказать в такой просьбе, и солдат вытащил свое огниво. Ударил по кремню раз, два, три — и перед ним предстали все три собаки: собака с глазами, как чайные чашки, собака с глазами, как мельничные колеса, и собака с глазами, как Круглая башня.

— Ну-ка, помогите мне избавиться от петли! — приказал им солдат.

И собаки бросились на судей и на весь королевский совет: того за ноги схватили, того за нос, да и подбросили ввысь. Все упали и разбились вдребезги!

— Не надо! — закричал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

— Служивый, будь нашим королём и женись на прекрасной принцессе!

И вот солдата посадили в королевскую карету. Карета катилась, а все три собаки танцевали перед ней и кричали «ура». Мальчишки свистели, засунув пальцы в рот, солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

## Ромашка

Вот послушайте-ка, что я расскажу.

За городом, у самой дороги, стояла дача. Ты, верно, видал её? Перед ней небольшой садик с цветником, а вокруг крашеный деревянный забор.

Неподалёку от дачи, у самой канавки, росла в мягкой зелёной траве крохотная ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали её так же, как и роскошные садовые цветы, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро её мелкие ослепительно белые лепестки наконец раскрылись и, словно лучи, окружили жёлтое сердечко посредине. Ромашку ничуть не заботило, что её никто не видит в густой траве и что она такой простой и невзрачный цветок, — нет, она была довольна всем; повернувшись к солнцу, она любовалась им и слушала, как где-то высоко-высоко в небе поёт жаворонок.

Ромашка была так счастлива, как в большой праздник, — а был всего только понедельник; все дети сидели в школе и чему-нибудь учились. Наша ромашка тоже сидела на своём зелёном стебельке и училась у ясного солнца и у всего вокруг и думала, как Бог всё хорошо устроил. Ромашке казалось, что жаворонок так понятно и красиво поёт о том, что чувствует она сама; и она почти с благоговением смотрела на счастливую пташку, которая летала и пела. Но сама ромашка ничуть не печалилась, что не может ни петь, ни летать. «Я ведь вижу и слышу! — думала она. — Солнце освещает меня, ветерок целует. О, как много мне дано!»

За забором цвело так много важных, гордых цветов, и чем меньше они благоухали, тем больше важничали. Пионы раздувались — им хотелось стать крупнее роз; но дело вовсе не в величине. Пестрее всех были тюльпаны, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Все они не замечали молоденькой ромашки, росшей по другую сторону забора. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная птичка! Слава Богу, что я расту так близко и вижу всё это великолепие!» Только она это подумала, «квирревит» — и жаворонок спустился… не в сад к пионам и тюльпанам, а прямо на траву к скромной ромашке! Ромашка так растерялась от радости, что просто не знала, что и думать.

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платьице, с золотым сердечком!»

Жёлтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золото, а ослепительно белые лепестки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала её, спела ей песенку и опять взвилась в синее небо. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка пришла в себя. Сконфуженная, но в душе очень довольная, взглянула она на цветы в саду, — они ведь видели, какое счастье и какая честь выпали ей на долю, кому же и оценить это, как не им! Но тюльпаны ещё больше заважничали и, обиженные, покраснели с досады, а толстоголовые пионы надулись. Хорошо, что они не умели говорить, — досталось бы от них ромашке. Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и от души пожалела их.

В это время в садике показалась девушка с острым, блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и принялась срезать их один за другим. Ромашка ахнула: «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что растёт за забором в траве, где её никто не

видит. Она поблагодарила судьбу, а когда солнце село, свернула лепесточки, заснула и всю ночь видела во сне солнце и маленькую птичку.

Утром, когда ромашка опять расправила лепестки и протянула их, словно руки, навстречу воздуху и свету, она узнала голос жаворонка: птичка пела — но как грустно! Бедняжка попалась в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о том, как отрадно летать на свободе, над свежей зеленью полей, о том, как хорошо и привольно было ему подниматься ввысь на своих крыльях. Тяжело, тяжело было у бедной птички на сердце, — она была в плену.

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но как это сделать? И она совсем перестала замечать, как хорошо вокруг, как греет солнце, как блестят её белые лепестки; она думала только о бедной птичке и о том, что ничем не может ей помочь.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

— Вот здесь можно вырезать славный кусочек дёрна для нашего жаворонка! — сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож, начал вырезать четырёхугольный кусок дёрна; ромашка очутилась как раз в середине его.

— Сорви цветок! — сказал другой мальчик; и ромашка затрепетала от страха: если её сорвут, она умрёт, а ей так хотелось жить, чтобы попасть в клетку к бедному пленнику!

— Нет, лучше оставь, — сказал первый из мальчиков. — Так красивее.

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. Бедная ромашка не умела говорить, не могла утешить его ни одним словом, хоть ей очень этого хотелось! Так прошло всё утро.

— Тут нет воды, — жаловался жаворонок. — Они забыли дать мне напиться. У меня пересохло в горле. Я весь горю, и меня знобит. Ах, мне тяжело дышать! Я должен умереть, расстаться с солнечным светом, со свежей зеленью, со всем Божьим миром!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил свой клюв в свежий, прохладный дёрн; тут он увидел ромашку, кивнул ей, поцеловал её и сказал:

— И ты завянешь здесь, бедный цветик! Взамен всего мира, которым я владел на воле, они дали мне тебя да этот клочок зелёного дёрна. Каждая травинка должна быть для меня зелёным

деревцем, каждый твой лепесточек — благоухающим цветком! Увы! Вы все только напоминаете мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни одним листочком, зато её нежные лепестки благоухали гораздо сильнее, чем обычно. Это заметил и жаворонок и, хотя он изнемогал от жажды, не тронул ромашки, а только выщипал всю траву.

Вот и вечер пришёл, а никто так и не принёс воды бедной птичке. Тогда она распустила свои красивые крылышки, судорожно затрепетала ими и ещё несколько раз жалобно пропищала:

— Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка не могла свернуть своих лепестков и заснуть, как накануне: она поникла, грустная и больная, и склонилась к земле.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мёртвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему могилку и всю её украсили цветами, а мёртвого жаворонка положили в красивую красную коробочку — его хотели похоронить по-царски. Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней — посадили её в клетку и заставили страдать от жажды, — а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ней горькие слезы!

Дёрн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о той, которая всё-таки больше всех любила бедного жаворонка и всем сердцем желала утешить его.

# Якоб Гримм (1785–1863) Вильгельм Гримм (1786–1859)

## Госпожа Метелица

У одной вдовы было две дочери; одна была красивая и работящая, а другая — уродливая и ленивая. Но мать больше любила уродливую и ленивую, а другой приходилось исполнять всякую работу и быть в доме Золушкой.

Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и прясть пряжу, да так много, что от работы у неё кровь выступала на пальцах.

И вот случилось однажды, что всё веретено залилось кровью. Тогда девушка нагнулась к колодцу, чтобы его обмыть, но веретено выскочило у неё из рук и упало в воду. Она заплакала, побежала к мачехе и рассказала ей про своё горе.

Стала мачеха её сильно бранить и была такою жестокой, что сказала:

— Раз ты веретено уронила, то сумей его и назад достать.

Вернулась девушка к колодцу и не знала, что ей теперь и делать; и вот прыгнула она с перепугу в колодец, чтоб достать веретено. И стало ей дурно, но когда она опять очнулась, то увидела, что находится на прекрасном лугу, и светит над ним солнце, и растут на нём тысячи разных цветов. Она пошла по лугу дальше и пришла к печи, и было в ней полным-полно хлеба, и хлеб кричал:

— Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю — я давно уж испёкся!

Тогда она подошла и вытащила лопатой все хлебы один за другим.

Пошла она дальше и пришла к дереву, и было на нём полным-полно яблок, и сказало ей дерево:

— Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уж поспели!

Она начала трясти дерево, и посыпались, словно дождь, яблоки наземь, и она трясла до последнего яблока. Сложила она яблоки в кучу и пошла дальше.

Пришла она к избушке и увидела в окошке старуху, и были у той такие большие зубы, что стало ей страшно, и она хотела было убежать. Но старуха крикнула ей вслед:

— Милое дитятко, ты чего боишься! Оставайся у меня. Если ты будешь хорошо исполнять у меня в доме всякую работу, тебе будет хорошо. Только смотри, стели как следует мне постель и

старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всём свете идти снег; я — госпожа Метелица.

Так как старуха обошлась с нею ласково, то на сердце у девушки стало легче, и она согласилась остаться и поступить к госпоже Метелице в работницы. Она старалась во всём угождать старухе и всякий раз так сильно взбивала ей перину, что перья взлетали кругом, словно снежинки; и потому девушке жилось у неё хорошо, и она никогда не слыхала от неё дурного слова, а варёного и жареного каждый день было у неё вдосталь.

Так прожила она некоторое время у госпожи Метелицы, да вдруг запечалилась и поначалу сама не знала, чего ей не хватает; но наконец она поняла, что тоскует по родному дому, и, хотя ей было здесь в тысячу раз лучше, чем там, всё же она стремилась домой. Наконец она сказала старухе:

— Я истосковалась по родимому дому, и хотя мне так хорошо здесь под землёй, но дольше оставаться я не могу, мне хочется вернуться наверх — к своим.

Госпожа Метелица сказала:

— Мне нравится, что тебя тянет домой, и так как ты мне хорошо и прилежно служила, то я сама провожу тебя туда. — Она взяла её за руку и привела к большим воротам.

Открылись ворота, и, когда девушка оказалась под ними, вдруг пошёл сильный золотой дождь, и всё золото осталось на ней, так что вся она была сплошь покрыта золотом.

— Это тебе за то, что ты так прилежно работала, — сказала госпожа Метелица и вернула ей также и веретено, упавшее в колодец.

Вот закрылись за ней ворота, и очутилась девушка опять наверху, на земле, и совсем недалеко от дома своей мачехи. И только она вошла во двор, запел петух, он как раз сидел на колодце:

Ку-ка-ре-ку!
Наша девица златая тут как тут.

И вошла она прямо в дом к мачехе; и оттого что была она вся золотом покрыта, её приняли и мачеха, и сводная сестра ласково.

Рассказала девушка всё, что с ней приключилось. Как услыхала мачеха о том, как достигла она такого большого богатства, захотелось ей добыть такого же счастья и для своей уродливой, ленивой дочери.

И она посадила её у колодца прясть пряжу; а чтоб веретено было у неё тоже в крови, девушка уколола себе палец, сунув руку в густой терновник, а потом кинула веретено в колодец, а сама

прыгнула вслед за ним.

Попала она, как и её сестра, на прекрасный луг и пошла той же тропинкой дальше. Подошла она к печи, а хлеб опять как закричит:

— Ах, вытащи меня, вытащи, а не то я сгорю — я давно уж испёкся!

Но ленивица на это ответила:

— Да что мне за охота пачкаться! — и пошла дальше.

Подошла она вскоре к яблоне; и заговорила яблоня:

— Ах, отряхни меня, отряхни, мои яблоки давно уж поспели!

Но ответила она яблоне:

— Ещё чего захотела, ведь яблоко может упасть мне на голову! — и двинулась дальше.

Когда она подошла к дому госпожи Метелицы, не было у неё никакого страха — она ведь уже слыхала про её большие зубы, — и тотчас нанялась к ней в работницы. В первый день она старалась, была в работе прилежная и слушалась госпожу Метелицу, когда та ей что поручала, — она всё думала о золоте, которое та ей подарит. Но на второй день стала она полениваться, на третий и того больше, а потом и вовсе не захотела вставать рано утром. Она не стлала госпоже Метелице постель как следует и не взбивала ей перины так, чтобы перья взлетали вверх. Это наконец госпоже Метелице надоело, и она отказала ей в работе. Ленивица очень этому обрадовалась, думая, что теперь-то и посыплется на неё золотой дождь.

Госпожа Метелица повела её тоже к воротам, но когда она стояла под ними, то вместо золота опрокинулся на неё полный котёл смолы.

— Это тебе в награду за твою работу, — сказала госпожа Метелица и закрыла за ней ворота.

Вернулась ленивица домой вся в смоле; и как увидел её петух, сидевший на колодце, так и запел:

Ку-ка-ре-ку!
Наша девушка-грязнуха тут как тут.

А смола на ней так на всю жизнь и осталась, и не смыть её было до самой смерти.

## Сладкая каша

Однажды жила-была бедная, скромная девочка одна со своей матерью, и есть им было нечего. Пошла раз девочка в лес и

встретила по дороге старуху, которая уже знала про её горемычное житьё и подарила ей глиняный горшочек. Стоило ему только сказать: «Горшочек, вари!» — и сварится в нём вкусная, сладкая пшённая каша; а скажи ему только: «Горшочек, перестань!» — и перестанет вариться в нём каша. Принесла девочка горшочек домой своей матери, и вот избавились они от бедности и голода и стали, когда захочется им, есть сладкую кашу.

Однажды девочка ушла из дому, а мать и говорит: «Горшочек, вари!» — и стала вариться в нём каша, и наелась мать досыта. Но захотелось ей, чтоб горшочек перестал варить кашу, да позабыла она слово. И вот варит он и варит, и ползёт каша уже через край, и всё варится каша. Вот уже кухня полна, и вся изба полна, и ползёт каша в другую избу, и улица вся полна, словно хочет она весь мир накормить; и приключилась большая беда, и ни один человек не знал, как тому горю помочь. Наконец, когда один только дом и остался цел, приходит девочка; и только она сказала: «Горшочек, перестань!» — перестал он варить кашу; а тот, кому надо было ехать снова в город, должен был в каше проедать себе дорогу.

# Редьярд Киплинг (1865–1936)

## Отчего у верблюда горб

Вот ещё одна сказка, и в ней я хочу рассказать, откуда взялся на спине у Верблюда такой большой горб.

В самые первые годы, давно-давно, вся земля была новенькая, только что сделанная. Животные с первых же дней стали служить Человеку. Но в Ужасно-Унылой Пустыне жил Ужасно-Унылый Верблюд, который и не думал работать. Он ел сухие колючки, жёсткие ветки, тамариск, терновник и кору, но работать ни за что не хотел — такой бессовестный бездельник и лентяй! И что бы ни говорили ему, он на всё отвечал:

— Гррб!

Только «Гррб» — и больше ничего.

Вот однажды, в понедельник утром, пришёл к нему Конь.

На спине у Коня было седло, в зубах уздечка.

— Верблюд, о Верблюд! — сказал он. — Ступай к Человеку и начни бегать рысью, как мы.

— Гррб! — ответил Верблюд, а Конь пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вскоре после этого к Верблюду пришёл Пёс. В зубах у него была палка. Он пришёл и сказал:

— Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку, научись ходить вместе с ним на охоту, как мы.

— Гррб! — ответил Верблюд, а Пёс пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вскоре после этого пришёл к Верблюду Бык. На шее у Быка было ярмо. Он сказал:

— Верблюд, о Верблюд! Иди к Человеку и паши землю, как мы.

— Гррб! — ответил Верблюд, а Бык пошёл к Человеку и рассказал ему всё.

Вечером Человек позвал Коня, Пса и Быка и сказал:

— Конь, Пёс и Бык, мне очень вас жалко (ведь мир был совсем ещё новенький!), но зверь, который кричит «Гррб» в той Пустыне, не способен ни к какой работе, а то бы он давно пришёл ко мне. Пусть себе живёт в своей Пустыне, я не трону его, но вам придётся работать вдвойне — и за себя и за него.

Тогда Конь, Пёс и Бык очень рассердились (ведь мир был ещё очень новый!). Они отправились к самому краю Пустыни и стали громко обсуждать, что им делать, и лаяли, и ржали, и мычали.

К ним подошёл Верблюд — бессовестный бездельник и лентяй! — и, лениво пережёвывая сухую траву, стал насмехаться над ними. Потом он сказал «Гррб» и удалился.

Мимо по дороге мчался в туче пыли Джинн, Владыка Всех Пустынь. (Джинны всегда путешествуют так, потому что они чародеи.) Он остановился поболтать с Конём, Псом и Быком.

— Владыка Всех Пустынь! — сказал Конь. — Кто имеет право бездельничать, если мир такой новый и в нём ещё так много работы?

— Никто, — ответил Джинн.

— А вот, — сказал Конь, — в твоей Ужасно-Унылой Пустыне живёт Ужасно-Унылый Зверь, с длинной шеей, с длинными ногами, который с самого утра, с понедельника, не подумал взяться за работу. Не желает бегать рысью — ни за что!

— Фью! — свистнул Джинн. — Да это мой Верблюд, клянусь золотом Аравийской земли! Что же он говорит?

— Он говорит одно слово: «Гррб», — сказал Пёс. — «Гррб» — и больше ничего. И не желает помогать Человеку охотиться.

— А что ещё он говорит? — спросил Джинн.

— Больше ничего, только «Гррб», и не желает пахать, — ответил Бык.

— Отлично! — воскликнул Джинн. — Пожалуйста, подождите минутку, я сейчас покажу ему «Гррб».

Он завернулся в свой плащ из пыли и помчался в Пустыню. Там он нашёл Верблюда. Тот стоял и любовался своим отражением в луже — бессовестный лентяй и бездельник.

— Мой лукавый длинноногий друг, — сказал Джинн, — я слышал, что ты не желаешь работать в нашем новом-новёхоньком мире. Что это значит?

— Гррб! — ответил Верблюд.

Джинн сел на песок и, опершись подбородком на руку, принялся колдовать, а Верблюд стоял и как ни в чём не бывало любовался своим отражением в луже.

— Конь, Бык и Пёс работали с самого утра, с понедельника, и работали больше, чем надо, оттого, что ты такой бессовестный лентяй и бездельник, — сказал Джинн.

И он опять опёрся рукой о подбородок и продолжал колдовать.

— Гррб! — повторил Верблюд.

— И как тебе не надоест это слово? Который раз ты повторяешь его? Бессовестный лентяй и бездельник, я хочу, чтобы ты начал работать!

— Гррб! — повторил Верблюд.

И вдруг спина, которой он так гордился, начала у него

пухнуть, и пухла, и пухла, и у него вздулся огромнейший твёрдый горб.

— Полюбуйся! — сказал Джинн. — Это тот самый «Гррб», о котором ты постоянно твердишь. Он вырос у тебя оттого, что ты бессовестный лентяй и бездельник. Работа началась с понедельника, сегодня четверг, а ты до сих пор ещё не принялся за работу. Но теперь ты начнёшь работать!

— Как же я буду работать, если у меня огромнейший Гррб? — спросил Верблюд.

— А это тебе в наказание! — ответил Джинн. — За то, что ты прогулял трое суток. Но теперь ты можешь работать три дня без всякой пищи, потому что ты будешь есть свой собственный Гррб. Жил же ты три дня одним только «Гррб». После этого, я надеюсь, ты не станешь говорить, что я о тебе не забочусь. А теперь уходи из Пустыни, ступай к Коню, Псу и Быку и смотри веди себя хорошо.

И пошёл Верблюд со своим горбом к Коню, Псу и Быку. И до сих пор он таскает на спине свой горб (мы не говорим уже «Гррб», мы говорим «горб», чтобы не обидеть Верблюда), и до сих пор он не может наверстать те три дня, которые он прогулял вначале, когда земля была новая, и до сих пор он не может научиться, как нужно себя вести.

## Рикки-Тикки-Тави

Это рассказ о великой войне, которую вёл в одиночку Рикки-Тикки-Тави в ванной большого дома в посёлке Сигаули.

Дарзи, птица-портной, помогала ему, и Чучундра, мускусная крыса[50], — та, что никогда не выбежит на середину комнаты, а всё крадётся у самой стены, — давала ему советы. Но по-настоящему воевал он один.

Рикки-Тикки-Тави был мангуст[51]. И хвост и мех были у него как у маленькой кошки, а голова и все повадки — как у ласочки. Глаза у него были розовые, и кончик его беспокойного носа тоже был розовый. Рикки мог почесаться где вздумается, всё равно какой лапкой: передней ли, задней ли. И так умел он распушить свой хвост, что хвост делался похожим на круглую длинную щётку.

И его боевой клич, когда он мчался в высоких травах, был рикки-тикки-тикки-тикки-чик!

Он жил с отцом и матерью в узкой ложбине. Но однажды летом произошло наводнение, и вода понесла его вдоль придорожного рва. Он брыкался и барахтался как мог. Наконец ему удалось ухватиться за плывущий пучок травы, и там он

держался, пока не лишился сознания. Очнулся он на горячем припёке в саду, посередине дорожки, весь истерзанный и грязный, а какой-то мальчик в это время сказал:

— Мёртвый мангуст! Давай устроим похороны!

— Нет, — сказала мальчику мать, — возьмём-ка его и обсушим. Может быть, он ещё живой.

Они внесли его в дом, и какой-то большой человек взял его двумя пальцами и сказал, что он вовсе не мёртвый, а только захлебнулся в воде. Тогда его завернули в вату и стали обогревать у огня. Он открыл глаза и чихнул.

— А теперь, — сказал Большой Человек, — не пугайте его, и мы поглядим, что он станет делать.

Нет на свете ничего труднее, как испугать мангуста, потому что он от носа до хвоста весь горит любопытством. «Беги Разузнай и Разнюхай», — начертано на семейном гербе у мангустов, а Рикки-Тикки был чистокровный мангуст. Он всмотрелся в вату, сообразил, что она не годна для еды, обежал кругом стола, сел на задние лапки, привёл свою шёрстку в порядок, а потом вскочил мальчику на плечо.

— Не бойся, Тедди, — сказал Большой Человек. — Это он хочет с тобой подружиться.

— Ай, он щекочет мне шею! — вскрикнул Тедди. Рикки-Тикки заглянул ему за воротник, понюхал ухо и, спустившись на пол, начал тереть себе нос.

— Вот чудеса! — сказала Теддина мать. — И это называется дикий зверёк! Верно, он оттого такой ручной, что мы были добры к нему.

— Мангусты все такие, — сказал её муж. — Если Тедди не станет поднимать его с полу за хвост и не вздумает сажать его в клетку, он поселится у нас и будет бегать по всему дому… Дадим ему чего-нибудь поесть.

Ему дали маленький кусочек сырого мяса. Мясо ему страшно понравилось. После завтрака он сейчас же побежал на веранду, присел на солнышке и распушил свою шёрстку, чтобы высушить её до самых корней. И тотчас же ему стало лучше.

«В этом доме есть немало такого, что я должен разведать как можно скорее. Моим родителям за всю свою жизнь не случалось разведать столько. Останусь тут и разведаю всё как есть».

Весь этот день он только и делал, что рыскал по всему дому. Он чуть не утонул в ванне, он сунулся носом в чернила и тотчас же после этого обжёг себе нос о сигару, которую курил Большой Человек, потому что взобрался к Большому Человеку на колени посмотреть, как пишут пером на бумаге. Вечером он прибежал в Теддину спальню, чтобы проследить, как зажигаются керосиновые

лампы. А когда Тедди улёгся в постель, Рикки-Тикки прикорнул возле него, но оказался беспокойным соседом, потому что при всяком шорохе вскакивал и настораживался и бежал разузнавать, в чём дело.

Отец с матерью зашли перед сном проведать своего спящего сына и увидели, что Рикки-Тикки не спит, а сидит у него на подушке.

— Не нравится мне это, — сказала Теддина мать. — Что, если он укусит ребёнка?..

— Не бойся, — сказал отец. — Эта зверюшка защитит его лучше всякой собаки. Если, например, сюда вползёт змея…

Но Теддина мать и думать не хотела о таких ужасах.

К утреннему завтраку Рикки въехал на веранду верхом на Теддином плече. Ему дали банан и кусочек яйца. Он перебывал на коленях у всех, потому что хороший мангуст никогда не теряет надежды сделаться домашним мангустом. Каждый из них с детства мечтает о том, что он будет жить в человечьем доме и бегать из комнаты в комнату.

После завтрака Рикки-Тикки выбежал в сад — поглядеть, нет ли там чего замечательного. Сад был большой, лишь наполовину расчищенный. Розы росли в нём огромные — каждый куст как беседка, — и бамбуковые рощи, и апельсинные деревья, и лимонные, и густые заросли высокой травы.

Рикки-Тикки даже облизнулся.

— Неплохое место для охоты! — сказал он.

И чуть только подумал об охоте, хвост у него раздулся, как круглая щётка. Он быстро обежал всю окрестность, нюхнул здесь, нюхнул там, и вдруг до него донеслись из терновника чьи-то печальные голоса.

Там, в терновнике, жили Дарзи, птица-портной и его жена.

У них было красивое гнездо: они сшили его из двух большущих листьев тонкими волокнистыми прутиками и набили мягким пухом и хлопком. Гнездо качалось во все стороны, а они сидели на краю и громко плакали.

— Что случилось? — спросил Рикки-Тикки.

— Большое несчастье! — ответил Дарзи. — Один из наших птенчиков вывалился вчера из гнезда, и Наг проглотил его.

— Гм, — сказал Рикки-Тикки, — это очень печально… Но я тут недавно… Я нездешний… Кто такой Наг?

Дарзи и его жена юркнули в гнездо и ничего не ответили, потому что из густой травы, из-под куста послышалось негромкое шипение — страшный, холодный звук, который заставил Рикки-Тикки отскочить назад на целых два фута. Потом из травы всё выше и выше, вершок за вершком, стала подниматься голова

Нага, огромной чёрной кобры[52], — и был этот Наг пяти футов длины от головы до хвоста.

Когда треть его туловища поднялась над землёй, он остановился и начал качаться, как одуванчик под ветром, и глянул на Рикки-Тикки своими злыми змеиными глазками, которые остаются всегда одинаковые, о чём бы ни думал Наг.

— Ты спрашиваешь, кто такой Наг? Смотри на меня и дрожи! Потому что Наг — это я…

И он раздул свой капюшон ещё больше, и Рикки-Тикки увидел на капюшоне очковую метку, точь-в-точь как петля от стального крючка.

Рикки стало страшно — на минуту. Дольше одной минуты мангусты вообще никого не боятся, и хотя Рикки-Тикки никогда не видел живой кобры, так как мать кормила его мёртвыми, он хорошо понимал, что мангусты для того и существуют на свете, чтобы сражаться со змеями, побеждать их и есть. Это было известно и Нагу, и потому в глубине его холодного сердца был страх.

— Ну так что! — сказал Рикки-Тикки, и хвост у него стал раздуваться опять. — Ты думаешь, если у тебя узор на спине, так ты имеешь право глотать птенчиков, которые выпадут из гнезда?

Наг думал в это время о другом и зорко вглядывался, не шевелится ли трава за спиной у Рикки. Он знал, что, если в саду появились мангусты, значит, и ему и всему змеиному роду скоро придёт конец. Но теперь ему было нужно усыпить внимание врага. Поэтому он чуть-чуть нагнул голову и, склонив её набок, сказал:

— Давай поговорим. Ведь птичьи яйца ты ешь, не правда ли? Почему бы мне не лакомиться птичками?

— Сзади! Сзади! Оглянись! — пел в это время Дарзи.

Но Рикки-Тикки хорошо понимал, что пялить глаза уже некогда. Он подпрыгнул как можно выше и внизу под собой увидел шипящую голову Нагайны, злой жены Нага. Она подкралась сзади, покуда Наг разговаривал с ним, и хотела прикончить его. Она оттого и шипела, что Рикки ускользнул от неё. Подпрыгнувший Рикки бухнулся к ней прямо на спину, и будь он постарше, он знал бы, что теперь самое время прокусить её спину зубами: один укус — и готово! Но он боялся, как бы она не хлестнула его своим страшным хвостом. Впрочем, он куснул её, но не так сильно, как следовало, и тотчас же отскочил от извивов хвоста, оставив змею разъярённой и раненой.

— Гадкий, гадкий Дарзи! — сказал Наг и вытянулся вверх сколько мог, чтобы достать до гнезда, висевшего на терновом кусте.

Но Дарзи нарочно построил своё гнездо так высоко, чтобы змеи не достали до него, и гнездо только качнулось на ветке.

Рикки-Тикки чувствовал, что глаза у него становятся всё краснее и жарче, а когда глаза у мангуста краснеют, это значит — он очень сердит. Он сел на хвост и на задние лапы, как маленький кенгурёнок, и, поглядев по сторонам, затараторил от ярости. Но воевать было не с кем: Наг и Нагайна юркнули в траву и исчезли. Когда змее случится промахнуться, она не говорит ни единого слова и не показывает, что она собирается делать. Рикки-Тикки даже не пытался преследовать врагов, так как не был уверен, может ли справиться с обоими сразу. Он побежал рысцой по направлению к дому, сел на песчаной тропинке и глубоко задумался. Да и было о чём.

Когда тебе случится читать старые книги о разных животных, ты прочтёшь, будто ужаленный змеёй мангуст тотчас же убегает прочь и съедает какую-то травку, которая будто бы лечит его от укуса. Это неверно. Победа мангуста над коброй — в быстроте его глаз и лап.

У кобры — укус, у мангуста — прыжок.

И так как никакому глазу не уследить за движением змеиной головы, когда она хочет ужалить, этот прыжок мангуста чудеснее всякой волшебной травы.

Рикки-Тикки хорошо понимал, что он ещё молодой и неопытный. Оттого ему было так радостно думать, что он изловчился увильнуть от нападения сзади. Он почувствовал большое уважение к себе, и, когда по садовой дорожке подбежал к нему Тедди, он был не прочь позволить мальчугану, чтобы тот погладил его. Но как раз в ту минуту, когда Тедди нагнулся над ним, что-то мелькнуло, извиваясь в пыли, и тоненький голосок произнёс: «Берегись! Я — Смерть!» Это была Карайт, пыльно-серая змейка, которая любит валяться в песке. Жало у неё такое же ядовитое, как у кобры, но оттого, что она маленькая, никто не замечает её, и таким образом она приносит людям ещё больше вреда.

Глаза Рикки-Тикки опять стали красные, и он, приплясывая, подбежал к Карайт той особенной, неровной походкой враскачку, которую унаследовал от своих прародителей. Походка забавная, но очень удобная, потому что даёт вам возможность сделать прыжок под каким угодно углом. А когда имеешь дело со змеями, это важнее всего. Поединок с Карайт был ещё опаснее для Рикки, чем сражение с Нагом, потому что Карайт такая маленькая, такая юркая и ловкая змейка, что, если только Рикки не вопьётся в неё зубами чуть пониже головы, Карайт непременно ужалит его либо в глаз, либо в губу.

Впрочем, Рикки этого не знал. Глаза у него совсем покраснели, он уже ни о чём не раздумывал, — он шёл и раскачивался взад и вперёд, выискивая, куда ему лучше вонзиться зубами. Карайт налетела на него. Рикки отскочил вбок и хотел было её укусить, но проклятая пыльно-серая головка очутилась у самого его затылка, и, чтобы сбросить её со спины, ему пришлось перекувырнуться в воздухе. Она не отставала и мчалась за ним по пятам.

Тедди повернулся к дому и крикнул:

— Идите посмотрите: наш мангуст убивает змею!

И Рикки-Тикки услышал, как взвизгнула Теддина мать. Отец мальчика выбежал с палкой, но как раз в это время Карайт сделала неудачный рывок — дальше, чем нужно, — и Рикки-Тикки вскочил на неё и впился зубами чуть пониже её головы, а потом откатился прочь. Карайт сразу перестала шевелиться, и Рикки-Тикки уже приготовился съесть её, начиная с хвоста (таков обеденный обычай у мангустов), когда он вспомнил, что мангусты от сытной еды тяжелеют и что, если он хочет сохранить свою ловкость и силу, он должен оставаться худым. Он отошёл прочь и стал кувыркаться в пыли под кустом клещевины, а Теддин отец набросился с палкой на мёртвую.

«К чему это? — думал Рикки. — Ведь я уже прикончил её».

И тут к Рикки-Тикки подбежала Теддина мать, подняла его прямо с пыли и стала крепко прижимать к себе, крича, что он спас её сына от смерти, а Тедди сделал большие глаза, и в его глазах был испуг. Суматоха понравилась Рикки, но из-за чего она произошла, он, конечно, не мог понять. За что они так ласкают его? Ведь для него драться со змеями то же самое, что для Тедди кувыркаться в пыли, — одно удовольствие.

Когда сели обедать, Рикки-Тикки, гуляя по скатерти, мог бы трижды набить себе брюхо самыми вкусными лакомствами, но он помнил о Наге и Нагайне, и хотя ему было очень приятно, что Теддина мать тискает и гладит его и что Тедди сажает его к себе на плечо, но глаза у него то и дело краснели, и он испускал свой воинственный клич рикки-тикки-тикки-тикки-чк!

Тедди взял его к себе в постель. Мальчику непременно хотелось, чтобы Рикки спал у него под самым подбородком, на груди. Рикки был благовоспитанный мангуст и не мог ни укусить, ни оцарапать его, но, чуть только Тедди заснул, он спустился с постели и пошёл путешествовать по дому.

В потёмках он наткнулся на мускусную крысу Чучундру, которая кралась поближе к стене.

У Чучундры разбитое сердце. Она хнычет и ноет всю ночь и всё хочет набраться храбрости, чтобы выбежать на середину

комнаты. Но храбрости у неё никогда не хватает.

— Не губи меня, Рикки-Тикки! — закричала она и чуть не заплакала.

— Кто убивает змею, станет ли возиться с какой-то мускусной крысой! — презрительно ответил Рикки-Тикки.

— Убивающий змею от змеи и погибнет! — ещё печальнее сказала Чучундра. — И кто знает, не убьёт ли меня Наг по ошибке? Он подумает, что я — это ты…

— Ну, этого он никогда не подумает! — сказал Рикки-Тикки. — К тому же он в саду, а ты там никогда не бываешь.

— Моя двоюродная сестра — крыса Чуа говорила мне… — начала Чучундра и смолкла.

— Что же она говорила?

— Тсс… Наг вездесущий — он всюду. Ты бы сам поговорил с моей сестрой в саду.

— Но я её не видел. Говори же! Да поскорее, Чучундра, а не то я тебя укушу.

Чучундра уселась на корточки и начала плакать. Плакала она долго, слёзы текли у неё по усам.

— Я такая несчастная! — рыдала она. — У меня никогда не хватало духу выбежать на середину комнаты. Тс-с-с! Но разве ты не слышишь, Рикки-Тикки? Уж лучше мне не говорить ничего.

Рикки-Тикки прислушался. В доме была тишина, но ему показалось, что до него доносится тихое, еле слышное ш-ш-ш, как будто по стеклу прошла оса. Это шуршала змеиная чешуя по кирпичному полу.

«Или Наг, или Нагайна! — решил он. — Кто-то из них ползёт по водосточному жёлобу в ванную…»

— Верно, Чучундра. Жаль, что я не потолковал с твоей Чуа.

Он прокрался в Теддину умывальную комнату, но там не оказалось никого. Оттуда он пробрался в умывальную комнату Теддиной матери. Там в оштукатуренной гладкой стене у самого пола был вынут кирпич для водосточного жёлоба, и, когда Рикки пробирался по каменному краю того углубления, в которое вставлена ванна, он услыхал, как за стеной в лунном сиянии шепчутся Наг и Нагайна.

— Если в доме не станет людей, — говорила Нагайна мужу, — он тоже уйдёт оттуда, и сад опять будет наш. Иди же, не волнуйся и помни, что первым ты должен ужалить Большого Человека, который убил Карайт. А потом возвращайся ко мне, и мы вдвоём прикончим Рикки-Тикки.

— Но будет ли нам хоть малейшая польза, если мы убьём их?

— Ещё бы! Огромная. Когда дом стоял пустой, разве тут водились мангусты? Покуда в доме никто не живёт, мы с тобою

цари всего сада: ты царь, я царица. И не забудь, что, когда на дынной гряде вылупятся из яиц наши дети (а это может случиться и завтра), им будет нужен покой и уют.

— Об этом я и не подумал, — сказал Наг. — Хорошо, я иду. Но, кажется, нет никакого смысла вызывать на бой Рикки-Тикки. Я убью Большого Человека и его жену, а также, если мне удастся, его сына и уползу потихоньку. Тогда дом опустеет, и Рикки-Тикки сам уйдёт отсюда.

Рикки-Тикки весь дрожал от негодования и ярости.

В отверстие просунулась голова Нага, а за нею пять футов его холодного туловища. Рикки-Тикки хоть и был взбешён, но всё же пришёл в ужас, когда увидал, какая огромная эта кобра. Наг свернулся в кольцо, поднял голову и стал вглядываться в темноту ванной комнаты. Рикки-Тикки мог видеть, как мерцают его глаза.

«Если я убью его сейчас, — соображал Рикки-Тикки, — об этом немедленно узнает Нагайна. Драться же в открытом месте мне очень невыгодно: Наг может меня одолеть. Что мне делать?»

Наг раскачивался вправо и влево, а потом Рикки-Тикки услышал, как он пьёт воду из большого кувшина, который служил для наполнения ванны.

— Чудесно! — сказал Наг, утолив жажду. — У Большого Человека была палка, когда он выбежал, чтобы убить Карайт. Быть может, эта палка при нём и сейчас. Но когда нынче утром он придёт сюда умываться, он будет, конечно, без палки… Нагайна, ты слышишь меня?.. Я подожду его здесь в холодке до рассвета…

Нагу никто не ответил, и Рикки-Тикки понял, что Нагайна ушла. Наг обвился вокруг большого кувшина у самого пола и заснул. А Рикки-Тикки стоял тихо, как смерть. Через час он начал подвигаться к кувшину — мускул за мускулом. Рикки всматривался в широкую спину Нага и думал, куда бы вонзиться зубами.

«Если я в первый же миг не перекушу ему шею, у него всё ещё хватит силы бороться со мной, а если он будет бороться — о Рикки!»

Он поглядел, какая толстая шея у Нага, — нет, ему с такой шеей не справиться. А укусить где-нибудь поближе к хвосту — только раззадорить врага.

«Остаётся голова! — решил он. — Голова над самым капюшоном. И уж если вцепиться в неё, так не выпускать ни за что».

И он сделал прыжок. Голова змеи лежала чуть-чуть на отлёте; прокусив её зубами, Рикки-Тикки мог упереться спиной в выступ глиняного кувшина и не дать голове подняться с земли. Таким образом он выигрывал только секунду, но этой секундой он

отлично воспользовался. А потом его подхватило, и брякнуло оземь, и стало мотать во все стороны, как крысу мотает собака, и вверх, и вниз, и большими кругами, но глаза у него были красные, и он не отстал от змеи, когда она молотила им по полу, расшвыривая в разные стороны жестяные ковшики, мыльницы, щётки, и била его о края металлической ванны. Он сжимал челюсти всё крепче и крепче, потому что хоть и думал, что пришла его смерть, но решил встретить её, не разжимая зубов. Этого требовала честь его рода.

Голова у него кружилась, его тошнило, и он чувствовал себя так, будто весь был разбит на куски. Вдруг у него за спиной словно ударил гром, и горячий вихрь налетел на него и сбил его с ног, а красный огонь опалил ему шёрстку. Это Большой Человек, разбуженный шумом, прибежал с охотничьим ружьём, выстрелил сразу из обоих стволов и попал Нагу в то место, где кончается его капюшон. Рикки-Тикки лежал, не разжимая зубов, и глаза у него были закрыты, так как он считал себя мёртвым.

Но змеиная голова уже больше не двигалась. Большой Человек поднял Рикки с земли и сказал:

— Смотри, опять наш мангуст. В эту ночь, Элис, он спас нас от смерти — и тебя, и меня.

Тут вошла Теддина мать с очень бледным лицом и увидела, что осталось от Нага. А Рикки-Тикки кое-как дотащился до Теддиной спальни и всю ночь только и делал, что встряхивался, как бы желая проверить, правда ли, что его тело разбито на сорок кусков, или это ему только так показалось в бою.

Когда пришло утро, он весь как бы закоченел, но был очень доволен своими подвигами.

«Теперь я должен прикончить Нагайну, а это труднее, чем справиться с дюжиной Нагов… А тут ещё эти яйца, о которых она говорила. Я даже не знаю, когда из них вылупятся змеёныши… Пойду и потолкую с Дарзи».

Не дожидаясь завтрака, Рикки-Тикки со всех ног бросился к терновому кусту. Дарзи сидел в гнезде и что есть мочи распевал весёлую победную песню. Весь сад уже знал о гибели Нага, потому что уборщик швырнул его тело на свалку.

— Ах ты, глупый пучок перьев! — сказал Рикки-Тикки сердито. — Разве теперь время для песен?

— Умер, умер, умер Наг! — заливался Дарзи. — Смелый Рикки-Тикки впился в него зубами! А Большой Человек принёс палку, которая делает бам, и перебил Нага надвое, надвое, надвое! Никогда уже Нагу не пожирать моих деток!

— Всё это так, — сказал Рикки-Тикки. — Но где же Нагайна? — И он внимательно огляделся вокруг.

А Дарзи продолжал заливаться:

Нагайна пришла к водосточной трубе,
И кликнула Нага Нагайна к себе,
Но сторож взял Нага на палку
И выбросил Нага на свалку.
Славься же, славься, великий
Красноглазый герой Рикки-Тикки!..

И Дарзи снова повторил свою победную песню.

— Достать бы мне до твоего гнезда, я бы вышвырнул оттуда всех птенцов! — закричал Рикки-Тикки. — Или ты не знаешь, что всему своё время? Тебе хорошо распевать наверху, а мне здесь внизу не до песен: нужно снова идти воевать! Перестань же петь хоть на минуту.

— Хорошо, я готов замолчать для тебя — для героя, для прекрасного Рикки! Что угодно Победителю Свирепого Нага?

— В третий раз тебя спрашиваю: где Нагайна?

— Над мусорной кучей она у конюшни, рыдает о Наге она… Велик белозубый Рикки!..

— Оставь мои белые зубы в покое! Не знаешь ли ты, где она спрятала яйца?

— У самого края, на дынной гряде, под забором, где солнце весь день до заката… Много недель миновало с тех пор, как зарыла она эти яйца…

— И ты даже не подумал сказать мне об этом! Так под забором, у самого края?

— Рикки-Тикки не пойдёт же глотать эти яйца!

— Нет, не глотать, но… Дарзи, если у тебя осталась хоть капля ума, лети сейчас же к конюшне и сделай вид, что у тебя перебито крыло, и пусть Нагайна гонится за тобой до этого куста, понимаешь? Мне надо пробраться к дынной гряде, а если я пойду туда сейчас, она заметит.

Ум у Дарзи был птичий, в его крошечной головке никогда не вмещалось больше одной мысли сразу. И, так как он знал, что дети Нагайны выводятся, как и его птенцы, из яиц, ему подумалось, что истреблять их не совсем благородно. Но его жена была умнее. Она знала, что каждое яйцо кобры — это та же кобра, и потому она тотчас же вылетела вон из гнезда, а Дарзи оставила дома: пусть греет малюток и горланит свои песни о гибели Нага. Дарзи был во многом похож на всякого другого мужчину.

Прилетев на мусорную кучу, она стала егозить в двух шагах от Нагайны и при этом громко кричала:

— Ой, у меня перебито крыло! Мальчишка, живущий в доме,

бросил в меня камнем и перебил мне крыло!

И она ещё отчаяннее захлопала крыльями. Нагайна подняла голову и зашипела:

— Это ты дала знать Рикки-Тикки, что я хочу ужалить его? Плохое же ты выбрала место хромать!

И она скользнула по пыльной земле к жене Дарзи.

— Мальчишка перебил его камнем! — продолжала кричать жена Дарзи.

— Ладно, может быть, тебе будет приятно узнать, что, когда ты умрёшь, я разделаюсь с этим мальчишкой по-своему. Сегодня с самого рассвета мой муж лежит на этой мусорной куче, но ещё до заката мальчишка, живущий в доме, тоже будет лежать очень тихо… Но куда же ты? Не думаешь ли ты убежать? Всё равно от меня не уйдёшь. Глупая, погляди на меня!

Но жена Дарзи хорошо знала, что этого-то ей и не следует делать, потому что стоит только какой-нибудь птице глянуть змее в глаза, как на птицу с перепугу нападает столбняк и она не может шевельнуться.

Жена Дарзи рванулась прочь, жалобно попискивая и беспомощно хлопая крыльями. Над землёй она не вспорхнула ни разу, а Нагайна мчалась за ней всё быстрее.

Рикки-Тикки услышал, что они бегут от конюшни по садовой дорожке, и кинулся к дынной гряде, к тому краю, что у самого забора. Там в разопрелой земле, покрывающей дыни, он отыскал двадцать пять змеиных яиц, очень искусно припрятанных, — каждое такой величины, как яйцо бантамки[53], только вместо скорлупы они покрыты белёсой кожурой.

— Ещё день, и было бы поздно! — сказал Рикки-Тикки, так как он увидел, что внутри кожуры лежали, свернувшись, крошечные кобры.

Он знал, что с той самой минуты, как они вылупятся из яйца, каждая может убить человека и мангуста. Он принялся быстро-быстро надкусывать верхушки яиц, прихватывая при этом головки змеёнышей, и в то же время не забывал раскапывать гряду то там, то здесь, чтобы не пропустить какого-нибудь яйца незамеченным.

Осталось всего три яйца, и Рикки-Тикки начал уже хихикать от радости, когда жена Дарзи закричала ему:

— Рикки-Тикки, я заманила Нагайну к дому, а Нагайна поползла на веранду! О, скорее, скорее! Она замышляет убийство!

Рикки-Тикки надкусил ещё два яйца, а третье взял в зубы и помчался к веранде.

Тедди, его мать и отец сидели на веранде за завтраком. Но Рикки-Тикки заметил, что они ничего не едят.

Они сидели неподвижно, как каменные, и лица у них были

белые. А на циновке у самого Теддиного стула извивалась кольцами Нагайна. Она подползла так близко, что могла во всякое время ужалить голую ногу Тедди. Раскачиваясь в разные стороны, она пела победную песню.

— Сын Большого Человека, убившего Нага, — шипела она, — подожди немного, сиди и не двигайся. Я ещё не готова. И вы все трое сидите потише. Если вы шевельнётесь, я ужалю его. Если вы не шевельнётесь, я тоже ужалю. О глупые люди, убившие Нага!

Тедди не отрываясь впился глазами в отца, а отец только и мог прошептать:

— Сиди и не двигайся, Тедди. Сиди и не двигайся!

Тут подбежал Рикки-Тикки и крикнул:

— Повернись ко мне, Нагайна, повернись и давай сражаться!

— Всё в своё время! — отвечала она, не глядя на Рикки-Тикки. — С тобой я расквитаюсь потом. А покуда погляди на своих милых друзей. Как они притихли и какие у них белые лица! Они испугались, они не смеют шелохнуться. И если ты сделаешь хоть один шаг, я ужалю.

— Погляди на своих змеёнышей, — сказал Рикки-Тикки, — там у забора, на дынной гряде. Ступай и погляди, что сталось с ними.

Змея глянула вбок и увидела на веранде яйцо.

— О! Дай его мне! — закричала она.

Рикки-Тикки положил яйцо между передними лапами, и глаза у него стали красны, как кровь.

— А какой выкуп за змеиное яйцо? За маленькую кобру? За кобру-царевну? За самую, самую последнюю в роду? Остальных уже пожирают на дынной гряде муравьи.

Нагайна повернулась к Рикки-Тикки. Яйцо заставило её позабыть обо всём, и Рикки-Тикки видел, как Теддин отец протянул большую руку, схватил Тедди за плечо и протащил его по столу, уставленному чайными чашками, в такое место, где змея не достанет его.

— Обманул! Обманул! Обманул! Рикк-чк-чк! — дразнил её Рикки-Тикки. — Мальчик остался цел, — а я, я, я нынче ночью схватил твоего Нага за шиворот… там, в ванной комнате… да!

Тут он начал прыгать вверх и вниз всеми четырьмя лапами сразу, сложив их в один пучок и прижимаясь головой к полу.

— Наг размахивал мной во все стороны, но не мог стряхнуть меня прочь! Он уже был неживой, когда Большой Человек расшиб его палкою надвое. Убил его я, Рикки-Тикки-чк-чк! Выходи же, Нагайна! Выходи и сразись со мною. Тебе недолго оставаться вдовой!

Нагайна увидела, что Тедди ей уже не убить, а яйцо лежит у

Рикки-Тикки между лапами.

— Отдай мне яйцо, Рикки-Тикки! Отдай мне моё последнее яйцо, и я уйду и не вернусь никогда, — сказала она, опуская свой капюшон.

— Да, ты уйдёшь и никогда не вернёшься, Нагайна, потому что тебе скоро лежать рядом с твоим Нагом на мусорной куче. Скорее же сражайся со мною! Большой Человек уже пошёл за ружьём. Сражайся же со мною, Нагайна!

Рикки-Тикки егозил вокруг Нагайны на таком расстоянии, чтобы она не могла его тронуть, и его маленькие глазки были как раскалённые угли.

Нагайна свернулась в клубок и что есть силы налетела на него. А он отскочил вверх — и назад. Снова, и снова, и снова повторялись её нападения, и всякий раз её голова хлопалась с размаху о циновку, и она снова свёртывалась, как часовая пружина. Рикки-Тикки плясал по кругу, желая обойти её сзади, но Нагайна всякий раз поворачивалась, чтобы встретить его лицом к лицу, и оттого её хвост шуршал по циновке, как сухие листья, гонимые ветром.

Он и забыл про яйцо. Оно всё ещё лежало на веранде, и Нагайна подкрадывалась к нему ближе и ближе. И наконец, когда Рикки остановился, чтобы перевести дух, она подхватила яйцо и, скользнув со ступеней веранды, понеслась как стрела по дорожке. Рикки-Тикки — за нею. Когда кобра убегает от смерти, она делает такие извивы, как хлыст, которым стегают лошадиную шею.

Рикки-Тикки знал, что он должен настигнуть её, иначе все тревоги начнутся опять. Она неслась к терновнику, чтобы юркнуть в густую траву, и Рикки-Тикки, пробегая, услышал, что Дарзи всё ещё распевает свою глупую победную песню. Но жена Дарзи была умнее его. Она вылетела из гнезда и захлопала крыльями над головой Нагайны. Если бы Дарзи прилетел ей на помощь, они, может быть, заставили бы кобру свернуть. Теперь же Нагайна только чуть-чуть опустила свой капюшон и продолжала ползти напрямик. Но эта лёгкая заминка приблизила к ней Рикки-Тикки. Когда она шмыгнула в нору, где жили она и Наг, белые зубы Рикки вцепились ей в хвост, и Рикки протиснулся туда вслед за нею, а, право, не всякий мангуст, даже самый умный и старый, решится последовать за коброй в нору. В норе было темно, и Рикки-Тикки не мог угадать, где она расширится настолько, что Нагайна повернётся и ужалит его. Поэтому он яростно вцепился в её хвост и, действуя лапками, как тормозами, изо всех сил упирался в покатую, мокрую, тёплую землю.

Вскоре трава перестала качаться у входа в нору, и Дарзи сказал:

— Пропал Рикки-Тикки! Мы должны спеть ему похоронную песню, бесстрашный Рикки-Тикки погиб. Нагайна убьёт его в своём подземелье, в этом нет никакого сомнения.

И он запел очень печальную песню, которую сочинил в тот же миг, но, едва он дошёл до самого грустного места, трава над норой зашевелилась опять, и оттуда, весь покрытый грязью, выкарабкался, облизывая усы, Рикки-Тикки. Дарзи вскрикнул негромко и прекратил свою песню.

Рикки-Тикки стряхнул с себя пыль и чихнул.

— Всё кончено, — сказал он. — Вдова никогда уже не выйдет оттуда.

И красные муравьи, что живут между стеблями трав, немедленно стали спускаться в нору друг за другом, чтобы разведать, правду ли он говорит.

Рикки-Тикки свернулся клубком и тут же, в траве, не сходя с места, заснул — и спал, и спал, и спал до самого вечера, потому что нелегка была его работа в тот день.

А когда он пробудился от сна, он сказал:

— Теперь я пойду домой. Ты, Дарзи, сообщи кузнецу, а он сообщит всему саду, что Нагайна уже умерла.

Кузнец — это птица. Звуки, которые она производит, совсем как удары молоточка по медному тазу. Это потому, что она служит глашатаем в каждом индийском саду и сообщает новости всякому, кто желает слушать её.

Идя по садовой дорожке, Рикки-Тикки услыхал её первую трель, как удары в крошечный обеденный гонг. Это значило: «Молчите и слушайте!» А потом громко и твёрдо:

— Динг-донг-ток! Наг умер! Донг! Нагайна умерла! Динг-донг-ток!

И тотчас же все птицы в саду запели и все лягушки заквакали, потому что Наг и Нагайна пожирали и птиц, и лягушек.

Когда Рикки приблизился к дому, Тедди, и Теддина мать (она всё ещё была очень бледна), и Теддин отец бросились ему навстречу и чуть не заплакали. На этот раз он наелся как следует, а когда настало время спать, он уселся на Теддино плечо и отправился в постель вместе с мальчиком. Там увидела его Теддина мать, придя проведать сына поздно вечером.

— Это наш спаситель! — сказала она мужу. — Подумай только: он спас и Тедди, и тебя, и меня.

Рикки-Тикки тотчас же проснулся и даже подпрыгнул, потому что сон у мангустов очень чуткий.

— А, это вы! — сказал он. — Чего же вам ещё беспокоиться: ни одной кобры не осталось в живых, а если бы они и остались — ведь я тут.

Рикки-Тикки имел право гордиться собою. Но всё же он не слишком заважничал и, как истый мангуст, охранял этот сад и зубом, и когтем, и прыжком, и наскоком, так что ни одна кобра не смела сунуться сюда через ограду.

# Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835–1910)
# Приключения Тома Сойера (*Отрывок*)

Дойдя до бревенчатого школьного домика, стоявшего поодаль от других, Том вошёл туда шагом человека, который торопится изо всех сил. Он повесил шляпу на гвоздь и с деловитым видом бойко прошмыгнул на своё место. Учитель, восседавший на кафедре в большом плетёном кресле, дремал, убаюканный сонным гудением класса. Появление Тома разбудило его.

— Томас Сойер!

Том знал, что, когда его имя произносят полностью, это предвещает какую-нибудь неприятность.

— Я здесь, сэр.

— Подойдите поближе. По обыкновению вы опять опоздали? Почему?

Том хотел было соврать, чтобы избавиться от наказания, но тут увидел две длинные золотистые косы и спину, которую он узнал мгновенно благодаря притягательной силе любви. Единственное свободное место во всём классе было рядом с этой девочкой. Не задумываясь ни на миг, он сказал:

— Я остановился на минуту поговорить с Гекельберри Финном!

Учителя чуть не хватил удар, он растерянно взирал на Тома. Гудение в классе прекратилось. Ученики подумывали, уж не рехнулся ли этот отчаянный малый. Учитель переспросил:

— Вы… Что вы сделали?

— Остановился поговорить с Гекельберри Финном.

Никакой ошибки быть не могло.

— Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я только слышал. Одной линейки мало за такой проступок. Снимите вашу куртку.

Рука учителя трудилась до полного изнеможения, пока не изломались все прутья. После чего был отдан приказ:

— А теперь, сэр, ступайте и сядьте с девочками! Пусть это будет для вас уроком.

Смешок, волной промчавшийся по классу, казалось, смутил Тома; на самом же деле это было не смущение, а почтительная робость перед новым божеством и страх, смешанный с радостью, которую сулила такая необыкновенная удача. Он сел на самый конец сосновой скамьи, а девочка, вздёрнув носик, отодвинулась

от него подальше. Все кругом шептались, подталкивали друг друга и перемигивались; однако Том сидел смирно, положив руки перед собой на длинную низкую парту и, по-видимому, с головой уйдя в книгу.

Мало-помалу на него перестали смотреть, и привычное школьное жужжанье опять воцарилось в сонном воздухе. Том начал украдкой поглядывать на девочку. Она это заметила, презрительно поджала губы и на минуту даже повернулась к Тому спиной. Когда же она опять осторожно обернулась, перед ней очутился персик. Она его отодвинула. Том тихонько подвинул персик обратно. Она опять его оттолкнула, но уже не так враждебно. Том, не теряя терпения, положил персик на старое место. Она его не тронула. Том нацарапал на грифельной доске: «Пожалуйста, возьмите — у меня есть ещё». Девочка посмотрела на доску, но ничего не ответила. Тогда Том принялся рисовать что-то на доске, прикрывая своё произведение левой рукой. Сначала девочка не хотела ничего замечать, потом женское любопытство взяло верх, что можно было заметить по некоторым признакам. Том по-прежнему рисовал, как будто ничего не видя. Девочка попробовала исподтишка взглянуть на рисунок, но он ничем не показал, что замечает это. Наконец она сдалась и нерешительно шепнула:

— Можно мне посмотреть?

Том приоткрыл карикатурный домик с двумя коньками на крыше и трубой, из которой дым выходил штопором. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что забыла обо всём на свете. После того как рисунок был окончен, она посмотрела на него с минуту и сказала:

— Как хорошо! А теперь нарисуйте человечка.

Художник изобразил перед домом человечка, похожего на подъёмный кран. Он мог бы перешагнуть через дом, но девочка судила не слишком строго — она осталась очень довольна этим страшилищем и прошептала:

— Какой красивый! А теперь нарисуйте меня.

Том нарисовал песочные часы, увенчанные полной луной, приделал к ним ручки и ножки в виде соломинок и вооружил растопыренные пальцы огромным веером. Девочка сказала:

— Ах, как хорошо! Жалко, что я не умею рисовать.

— Это легко, — прошептал Том, — я вас научу.

— Правда, научите? А когда?

— В большую перемену. Вы пойдёте домой обедать?

— Я могу остаться, если хотите.

— Вот это здорово! А как вас зовут?

— Бекки Тэтчер. А вас? Ах, я знаю: Томас Сойер.

— Это когда меня хотят выдрать. А если я хорошо себя веду — Том. Зовите меня Том, ладно?

— Ну что ж.

Том принялся царапать что-то на доске, закрывая написанное от Бекки. На этот раз она, не стесняясь, попросила показать, что это такое. Том ответил:

— Да так, ничего особенного.

— Нет, покажите.

— Да не стоит. Вам будет неинтересно.

— Нет, интересно. Покажите, пожалуйста.

— Вы про меня расскажете.

— Нет, не расскажу. Ну вот вам честное-пречестное, ну самое честное, что не расскажу.

— Никому-никому не скажете? Никогда, до самой смерти?

— Никому на свете. А теперь показывайте.

— Да вам же, право, неинтересно!

— Ну, если вы так со мной обращаетесь, то я сама посмотрю.

Она схватила своей маленькой ручкой руку Тома, последовала небольшая борьба, причём Том делал вид, будто сопротивляется, а сам мало-помалу отодвигал свою руку, пока не показались слова: «Я вас люблю!»

— А, какой вы противный! — И она проворно шлёпнула Тома по руке, но всё-таки покраснела, и вообще было видно, что она очень довольна.

В эту минуту мальчик почувствовал, как чья-то сильная рука медленно и неуклонно сжимает его ухо и тянет кверху и вперёд. Таким порядком его провели через весь класс и водворили на старое место, под перекрёстным огнём хихиканья. После этого учитель простоял над ним несколько тягостных мгновений, наконец отошёл прочь, к своему трону, так и не сказав ни слова. И хотя ухо Тома горело, сердце его было полно ликования.

После того как в классе всё утихло, Том сделал честную попытку учить уроки, но был для этого слишком взволнован. Когда дошла до него очередь отвечать вслух, он опозорился, потом, отвечая по географии, превращал озёра в горные хребты, хребты в реки и реки в материки, так что на Земле снова водворился хаос; потом, когда писали диктант, он наделал ошибок в самых простых словах, известных всякому младенцу, оказался на последнем месте, и оловянная медаль за правописание, которую он носил всем напоказ несколько месяцев подряд, перешла к другому ученику.

**notes**

# Примечания

# 1

**Кросна** — стан для тканья.

## 2

**Благослови́ть** — перекрестить, передавая этим покровительство, пожелание счастья, удач.

# З

**Лучи́на** — тонкая длинная щепка.

**За́кром** — отгороженное место в амбаре для ссыпки зерна, муки.

# 5

**Берд** — принадлежность ткацкого стана, похожая на гребень.

# 6

**Фаэто́н** — экипаж, карета.

## 7

**Гимна́зия** — школа в дореволюционной России. В гимназии учились 8 лет. В подготовительный класс принимали детей в возрасте 9—10 лет. Дети к этому времени уже должны были уметь читать, писать, считать.

# 8

**Держал в первый класс** — сдавал экзамен для поступления в первый класс. Те, кто поступал в гимназию сразу в первый класс, без подготовительного, сдавали экзамены. К экзаменам их готовили дома родители или нанятые учителя.

# 9

**Наёмный двор** — так называлось место, где стояли лачужки, которые отец Тёмы сдавал внаём бедным людям. С ребятишками наёмного двора Тёма дружил, они ходили всегда вместе, ватагой.

# 10

**Однако́лка** — двухколёсный экипаж.

# 11

**Са́йма** — рыбацкая стоянка.

## 12

**Стани́ца** — здесь: стая.

# 13

**Верста́** — старая мера длины, несколько больше километра.

## 14

**Трепа́ло** — зубчатая дощечка, которой выколачивают, треплют лён.

**Костри́ка** — отбросы льна после выколачивания.

**Ки́пень** — белая от кипения пена.

# 17

**Баска́ков** — домашний учитель Алёши.

# 18

**Тарантáс** — крытая повозка.

# 19

**Опра́вился** — успокоился, пришёл в себя.

# 20

**Бриллиа́нт** — прозрачный драгоценный камень; бриллиа́нтиться — блестеть, искриться.

## 21

**Журавли́** — здесь: шесты у колодцев, служащие рычагами для подъёма ведра.

# 22

**Аркадий Иванович** — учитель Никиты.

# 23

**Нил**, **Лимпопо** — реки в Африке.

# 24

**Средиземное море** — море, расположенное между Европой, Азией и Африкой.

# 25

**Рейн**, **Темза** — реки в Европе.

**Мичиган** — озеро в Северной Америке.

**Мёртвое море** — в Азии (Палестине).

# 28

**Амазонка** — река в Южной Америке.

# 29

**Каир** — город в Африке.

# 30

**Колибри** — птица, размером иногда не больше шмеля; водится главным образом в Южной Америке.

# 31

**Рахат-лукум** — кондитерское изделие, по внешнему виду напоминающее мармелад.

# 32

**Филодендрон** — растение с широкими лапчатыми листьями, растёт в Южной Америке, у нас разводится в комнатах и оранжереях.

# 33

**Новая Гвинея** — остров в Тихом океане, расположенный недалеко от Австралии.

**Мезони́н** — надстройка над серединой дома.

## 35

**Каде́ты** — воспитанники кадетского корпуса. Там учились будущие офицеры.

**Мизера́бль** — несчастный (французское слово).

# 37

**Назаре́нко** — учитель в приготовительном классе.

# 38

**Амфитеа́тр** — места в зале, в классах, расположенные возвышающимся полукругом: каждый следующий ряд выше предыдущего.

# 39

**Трактир** — в старину гостиница с рестораном.

**Ве́ксель** — письменное обязательство уплатить кому-нибудь определённую сумму денег в назначенный срок.

# 41

**Дуплянка** — вид искусственного гнездовья для птиц.

**Потýпиться** — опустить голову, глаза.

**Насу́питься** — то же, что нахмуриться.

**Воскреси́ть** — сделать вновь живым.

**Хло́пчик** — мальчик.

**Бакла́га** — фляга.

**Пан** — барин.

**Па́нночка** — дочь пана.

# 49

**Круглая башня** — Эта башня была воздвигнута в Копенгагене астрономом Тихо Браге, который устроил в ней обсерваторию.

**Мускусная крыса** (выхухоль) водится главным образом в Северной Америке.

# 51

**Мангусты** — порода крыс, распространённая в Индии.

# 52

**Кобра** — ядовитая очковая змея. Сзади, чуть пониже головы, у неё узор, похожий на очки. Когда она сердита, она раздувает шею так, что получается подобие капюшона.

# 53

**Бантамка** — курица мелкой породы.